

Биографии,
автобиографии,
мемуары

A black and white portrait of a young woman with blonde hair, smiling, wearing a patterned dress. The portrait is cut out and placed against a cloudy sky background.Several birds are shown in flight against a cloudy sky. One bird is prominently shown in the foreground, flying towards the right. Other birds are scattered in the background.A horizontal line of barbed wire runs across the lower half of the image. Below the wire, there are some tall grasses or reeds. The background is a cloudy sky.

Тамара ПЕТКЕВИЧ

Жизнь —
сапожок непарный

Книга первая

Биографии, автобиографии, мемуары

Тамара Петкевич

**Жизнь – сапожок
непарный. Книга первая**

«Азбука-Аттикус»

1993

УДК 84-94
ББК 84(2Рос-Рус)6

Петкевич Т. В.

Жизнь – сапожок непарный. Книга первая / Т. В. Петкевич —
«Азбука-Аттикус», 1993 — (Биографии, автобиографии, мемуары)

ISBN 978-5-389-22852-8

Воспоминания Тамары Петкевич, наряду с произведениями Варлама Шаламова, Евфросинии Керсновской, Евгении Гинзбург и многих других, занимают прочное место в ряду произведений, которые запечатлели «единый человеческий слив помоев, добра, жестокости, зверств и беззащитности» и навсегда обозначили координаты «лагерной» темы на карте русской литературы XX века. Юной, хрупкой, нежной, потрясающе красивой женщине в полной мере довелось хлебнуть из чаши страданий, выпавших на долю безвинных жертв политических репрессий; она испытала и непосильный труд, и унижения, и голод, и холод, которые превращают заключённых в затравленное животное. Вместе с тем лагерные годы стали для автора не только наукой выживания в нечеловеческих условиях. Судьба Тамары Петкевич под стать захватывающему роману, в котором соединились любовь, предательство, ревность, разлука, дружба, встречи с удивительными людьми, радость материнства и боль утраты – всё то, что определяет волнующую полноту человеческой жизни вопреки уродству страшных законов лагеря и своеволию его богов и божков. В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

УДК 84-94
ББК 84(2Рос-Рус)6

ISBN 978-5-389-22852-8

© Петкевич Т. В., 1993

© Азбука-Аттикус, 1993

Содержание

От автора	7
Глава первая	9
Глава вторая	34
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Тамара Петкевич
Жизнь – сапожок непарный. Книга первая

© Т. В. Петкевич (наследники), 2023

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Колибри®

От автора

Мысль написать о пережитом помнится неизвестно откуда взявшимся импульсом во время этапа, которым нас вели ночью из одного среднеазиатского лагеря в другой. Моя первая книга открывалась кратким обращением к читателю:

«Эта книга могла возникнуть только потому, что во мне жила неотменимая потребность вернуть в жизнь хотя бы некоторые имена, обстоятельства прежних лет и судьбы ушедших людей. Эти люди мучились, страдали и погибли, не реализовав своих богатейших возможностей. Их мужество и человечность, их дружба сформировали и спасли меня. Спасли тогда, когда спасение казалось невозможным. Моя благодарность им предела не имеет.

Если эта повесть затронет души тех, кто найдёт в себе желание пройти вместе с нами по этапам отчаяния и надежд, я буду полностью вознаграждена».

Первая книга охватывала 1920–1952 годы (жизнь семьи, учёба, арест отца в 1937 году, мой арест в 1943-м, когда мне было двадцать два года, следствие, суд, осуждение на семь лет лишения свободы по статье 58–10, часть 2, годы неволи, освобождение).

Мне было сорок с лишним лет, когда я села писать о прошлом. Под названием «Жизнь – сапोजок непарный», подсказанным строкой Марины Цветаевой, книга была издана в Санкт-Петербурге в 1993 году издательством «Астра-Люкс» и в 2004 году переиздана московским издательством «Вагриус».

Не желая вписываться в идеологию системы, покалечившей жизни столько друзей и людей вообще, я хотела одного – прожить отпущенный мне срок согласно исконным человеческим законам и собственному разумению. Вопросы адресовала отнюдь не власти и не общественной жизни, а напрямую – Жизни. Её суровые законы не предусматривали места для вырванных или выпавших из неё. В переводе на бытовой язык жизнь будто говорила: «Ну, существуй возле, как сумеешь. Сама изыскивай занятие и смысл».

В 1956 году я была реабилитирована «за отсутствием состава преступления». В 1959-м вернулась в Ленинград. Я никак не предполагала, что ещё через сорок лет на фоне меняющейся Истории, когда мне будет уже восемьдесят, я снова возьмусь за перо, чтобы *дорассказать* жизнь. К этому толкала отчаянная, сводящая с ума потребность отыскать хоть какую-то логику в «великом эксперименте», понять, во имя чего были отняты и сломаны жизни у такого множества людей. Не уложив этого в голову и в сердце, трудно было существовать и в житейском, и в космогоническом пространстве.

У Давида Самойлова есть персонаж, место обитания которого означено им чутко и достоверно:

Он пишет, бедный человек,
Свою историю простую,
Без замысла, почти впустую,
Он запечатлевает век.

А сам живёт на фоне звёзд,
На фоне снега и дождей,
На фоне слов, на фоне страхов,
На фоне снов, на фоне ахов!..

Я решилась воспользоваться этим поэтическим образом в названии второй части моих воспоминаний. Для множества людей двадцатого века, переживших раскулачивание, репрес-

сии, бедствия Отечественной войны, первую и вторую эмиграцию, – это и адрес, и точка обзора.

В 2008 году в петербургском издательстве «Балтийские сезоны» воспоминания вышли под названием «На фоне звёзд и страха». Вторая книга является продолжением первой, «Жизнь – сапожок непарный».

Рукопись «Сапожка» пролежала без движения двадцать лет, с 1973 по 1993 год, а книгу «На фоне звёзд и страха» я начала писать только в 2000 году. Временной разрыв между ними – огромный. Именно поэтому сейчас явилась идея что-то дополнить, связать основные события между собой, расположить их – насколько возможно – в хронологической последовательности и тем самым представить в двухтомнике более полную картину времени.

Немало трудностей добавила мне путаница в документах. В трудовой книжке, выданной мне до ареста, и в справках об освобождении и реабилитации моё отчество указано правильно – Владиславовна. Однако в паспорте, который я получила в 1950 году, по небрежности ЗАГСа появилось неверное отчество – Владимировна. Так я стала – и по сей день пребываю – и Владиславовной, и Владимировной. Прошу не винить за это разночтение моих издателей.

Приношу свою глубокую благодарность за помощь в подготовке двухтомника Наталье Владимировне Клименченко и Ирине Бенедиктовне Комаровой.

Тамара Петкевич

Глава первая

...И никакого розового детства...

Анна Ахматова

Начало двадцатых. Петроград.

Вокруг многое доламывалось. Многое только начинало быть. Революция, Гражданская война – всё, что произошло с устоями общества и убеждениями людей, – всё это пришлось на пору молодости моих родителей.

Отец и мать встретились на фронте во время Гражданской войны. Мать – Ефросинья Фёдоровна Мочаловская, русская, тогда только-только окончила гимназию. Как и многие её сверстницы, уверовав в революцию, ушла на фронт, где её определили машинисткой при штабе дивизии, комиссаром которой был мой отец.

Отец – Владислав Иосифович, поляк, родился в Риге. Незадолго до Первой мировой войны подошёл возраст призыва, его взяли в армию. Там, по-видимому, и сформировались его взгляды. Во всяком случае, его приход в революцию был шагом вполне обдуманным. В 1918 году отец стал членом РКП(б).

На его фотографии, подаренной маме и помеченной февралём 1919 года, написано: «...вспоминай Вилейку, Мозырь, Гомель, Бобруйск...» Очевидно, это пункты перемещения их дивизии. Как они потом попали в плен к Петлюре, не знаю. Нелюбопытная юность уточнить эти обстоятельства не удосужилась. Запомнила только, что оба были приговорены к расстрелу, но весной, «в валенках», бежали из плена. Знаю также, что на фронте отец был тяжело контужен.

Я родилась в 1920-м. В том же году родители переехали в Петроград и поселились в довольно занятом доме.

На Петроградской стороне архитектор Р. Габе построил в 1911–1912 годах для некоего К. Чубакова доходный дом. Квартиры были дорогие. Снимала их публика состоятельная: крупные инженеры, врачи, чиновники. В 1918–1920 годах многие из них бежали за границу. Бежали, видимо, поспешно, успев захватить лишь драгоценности, одежду. Мебель, посуда, утварь остались. Старой закалки дворники запирали эти квартиры. Держали всё в целости и сохранности на случай, если хозяева вернуться.

Создавая в те годы кооперативные товарищества, советская власть дома обобществила. Став членом кооператива, мой отец занял квартиру в доме на набережной реки Карповки, 30. Стилизованный под Восток дом имел башню; лепные орлы, химеры и возлежащие на постаментах у подъезда львы должны были, по всей видимости, охранять его от злых сил.

Квартира была с балконами. Казалось, они покоились на сильных, мускулистых руках трёх атлантов, которые глядели на прохожих пустыми известковыми очами. При артиллерийских обстрелах города в 1942 году атланты рухнули, балконы же уцелели.

Транспорта в этом уголке города не было никакого. Глядя в окно, за час можно было насчитать пять, от силы девять прохожих. Вода в речке Карповке стояла мутная и сонная. Вдоль берегов тянулись покосившиеся деревянные перила. Береговые откосы, поросшие лопухами громадных размеров, одуванчиками, белой и красной кашкой, были замусорены битыми стеклами и кирпичом. Правда, спустившись по берегу вниз, сачком можно было ловить замечательной красоты стрекоз и бабочек. Напротив дома, на другом берегу Карповки, возле монастыря, обращаясь к замурованным там мощам Иоанна Кронштадтского, молились, стоя на коленях, верующие, куда-то спешили монашки.

На Каменноостровском проспекте, пересекавшем Карповку, самое людное место было у пивной, в витрине которой в небольшой тарелочке лежали муляжные красные раки, обложенные зелёным горошком. С клубами тёплого воздуха в стужу оттуда выскакивали пошатывав-

шиеся мужчины. Едва начинало смеркаться, на тротуаре напротив питейного заведения располагался старик-скрипач, наигрывавший одну и ту же мелодию. Мелодия была печальна. Старик – беден и стар. Мама давала монетку, я бросала её на облезлую бархатную подкладку футляра и, уходя, оборачивалась, чтобы посмотреть, кинет ли кто-нибудь ещё.

Грудой камней лежал бывший скейтинг-ринк, где раньше, как объяснила мама, нарядные люди катались на роликах. (Ныне на этом месте Дворец культуры имени Ленсовета.)

Наводнение 1924 года усугубило разор. Мы возвращались с дачи. Стоя коленками на сиденье трамвая, я смотрела на вывороченные шашки торцовой мостовой.

– Это ремонт? – спросила я маму.

– Нет, детка, наводнение. Здесь всё было затоплено водой, и деревянные торцы всплыли.

На фасаде нашего дома появилась белая черта с надписью: «Уровень воды при наводнении 1924 года». Вместе с другими девочками я «примерялась». Черта находилась значительно выше моего роста. Тогда же в доме появилась деревянная скамья-реликвия: на ней папа приплыл домой.

В нашей квартире царил мрачноватый порядок. Квартира была огромная – из шести комнат. Круглый зал с нишами, столовая, папин кабинет, гостиная, детская... При кухне ещё комната – седьмая, для прислуги. Меня, вероятно, нередко оставляли дома одну, потому что помню, как в загустевшей тишине я бродила из комнаты в комнату.

Папин кабинет был самым таинственным. С резных дубовых спинок и подлокотников кресел, с ящиков письменного стола смотрели морды деревянных львов с раскрытой пастью. Я с опаской совала туда палец. Нет, не кусались. Стены полупустого зала украшали два зеркала в замысловатой бронзовой оправе в стиле рококо. В буфете, занимавшем половину стены большой холодной столовой, стояли стопками тарелки с вензелями и коронами, многоцветные хрустальные бокалы разной величины. Когда мама проводила кончиком пальца по их ободкам, хрусталь этот пел сладкозвучными голосами. Но самой увлекательной вещью был в столовой серебряный звоночек. Он висел над столом чуть ниже бисерной бахромы белого стеклянного абажура. Во время обеда этим звоночком оповещали прислугу: можно подавать второе, третье... Звоночек не был лишним, потому что прислуга у нас тоже была. Кому принадлежала квартира раньше? Кто жил в ней до нас? Мои родители этого не знали. Что было в квартире наше, что нет, осталось неизвестным... В просторных апартаментах мы жили вчетвером: мама, папа, наша домработница и я.

У красивой и женственной мамы был мягкий характер. Она не работала. На её попечении находились весь дом и я. Отец – натура сильная и страстная – был поглощён идеей переустройства мира. С фанатической отдачей он трудился всюду, куда его назначали. По свидетельству старых знакомых, отец заведовал в Петрограде золотым фондом. С работы приходил поздно, дома бывал мало.

В воскресные дни к нам приходили гости, преимущественно фронтовые друзья родителей. Присущие отцу бескомпромиссность и честность укрепили завоёванное им на фронте уважение. К нему и в последующие годы чаще обращались не по имени и отчеству, а: «Комиссар, объясни. Как полагаешь, комиссар?» Гости рассаживались в папином кабинете, вспоминали былое, спорили, курили.

С особым вниманием я слушала один папин рассказ: едва они однажды с бойцами расположились на привал, разожгли костёр и сварили кашу, откуда-то появилась оборванная девочка лет десяти. Заворожённо глядя, как бойцы управляют с едой, она стала быстро и упрямо повторять не сразу понятное: «Я б ни йила б, я б ни йила б!» (Не ела бы – то есть). И когда ей наконец протянули миску с кашей, мигом заглотнула её.

Из разговоров взрослых я усвоила, что бедных людей скоро совсем не будет, все будут жить одинаково хорошо; дома будут строиться по-новому: привезут много земли, на крышах домов посадят цветы и деревья, соорудят бассейны. Хозяйкам не нужно будет готовить обеды –

за них это сделают фабрики-кухни. Но самым замечательным из всего должны будут стать детские сады... В кадках – пышные растения, везде зелень и ещё аквариумы, в которых будут плавать диковинные рыбки... Дети сыты и одеты. Родители за них спокойны, свободны и потому после работы каждый вечер ходят в кино. Кино, разумеется, бесплатное.

Наша квартира одно время превратилась просто-таки в «показательную».

– Приехали немецкие коммунисты. Завтра придут к нам, – говорил маме отец.

Или:

– Приехала болгарская делегация. Будут у нас... В воскресенье надо принять испанских товарищей...

И они приходили с переводчиком. Хорошо одетые, степенные люди осматривали квартиру, задавали вопросы.

Для первых лет советской власти наша жизнь, вероятно, выглядела сообразной, более чем представительной. Меня эта сторона дела никак, понятно, не занимала. Моё внимание целиком было поглощено внутрисемейными раздорами, о которых никто из окружающих, кажется, не подозревал. Родители ссорились между собой. Ссорились без крика, правда не без повышенных тонов. Затяжные объяснения заканчивались обычно тем, что в доме воцарялось гнетущее молчание. Примостившись на корточках за узорчатыми чугунными креплениями балконов, я следила за родителями, пока они прохаживались вдоль Карповки, одержимая единственным желанием: чтобы они помирились.

Не исключено, что, помимо сугубо личных, терзавших моих родителей проблем, одной из причин разногласий был и вопрос моего воспитания. Я не раз слышала неуступчивое папино «нет!». В рождественские дни, скажем, дворник приносил ёлку. Мама принималась её наряжать. Застав её за этим занятием, папа чеканил:

– Я, как коммунист, не могу разрешить, чтобы в доме была ёлка!

– Но ребёнку это нужно, – возражала мама.

– Пусть растёт без ёлочек и свечечек!

В столовой продолжала стоять никому уже не нужная ёлка. Вместе с ней в душе поселялось чувство страха перед отцом.

Что-то похожее возникло и по приезде одной из бабушек. Мать отца, бабушка Урсула, жила в Риге, по тогдашним понятиям – за границей. Мамина же мать умерла при родах. Воспитавшую её тетю мама называла мамой, а я бабушкой Дарьей.

Именно с приездом бабушки Дарьи в мою жизнь вошли тепло, прибаутки, говор с милой белорусской прибавкой «ти»: «Ти пойдёшь ты, ти нет?» С жадностью я впитывала бабушкины сказки про соперничество старого принца Алмаза и юного принца Колокольчика, про кисельные берега и молочные реки, про Золушку, и неприятным этим сказкам в известном смысле суждено было сыграть спасительную роль.

Бабушка Дарья быстро научила меня играть «в дурачка» и так же быстро повела в церковь. Тут и разразился скандал.

– Не смей водить ребёнка в церковь! – разъярился папа.

Бабушка невозмутимо шепнула после грозного выговора:

– Без Бога-то нельзя. Ходить всё равно будем, да только потихонечку.

«Потихонечку» – усекли. Бабушка уехала. А я начинала понимать, что означают слова: «У папы трудный характер». «Стоило мне где-нибудь задержаться на станции, – рассказывала мама своей подруге об их военном прошлом, – как он, никому не разрешая меня позвать, отправлял эшелон. Сломая голову догоняла состав. Получала нагоняй, да ещё какой! От придирок и замечаний не было спасения...» Мама признавалась своей приятельнице, как отчаянно боялась крутого комиссара и как была обескуражена, когда он внезапно объяснился ей в любви.

Разделяя мамину боязнь и остро ей сопереживая, я в то же время чувствовала себя заинтригованной трудным характером папы. «Ему самому, наверно, трудно», – рассуждала я,

исподтишка наблюдая за ним. И бурно радовалась, когда в нашем доме случались сюрпризные воскресенья. Утром из кухни доносился вкусный запах. Сам папа пёк булочки. Они получались пышные и ароматные. Папа преображался, становился неузнаваемым. Поддразнивал меня, шутил с мамой. Мама в такие дни сияла. И я страстно хотела, чтобы так было всегда.

Когда из Риги приехала бабушка Урсула, папа-сын, бережно и любовно ухаживавший за своей матерью, тоже мне очень понравился. Навестившая нас «заграничная» бабушка только теперь познакомилась с мамой. Восхищалась ею. В белоснежной с вышивкой блузке, плиссированной юбке мама была очень хороша. Знакомые её называли Венерой Милосской. Они с папой были красивой парой. Папа тогда носил темно-синюю толстовку с бантом. Вместе с благообразной бабушкой, по настоянию отца, всю семью запечатлела известная тогда в Петрограде фотография В. И. Германа.

В Риге оставались сёстры отца и младший брат. Я с удовольствием повторяла их имена вслух: Иогася, Леокадия, Виктория, Исидор. Там же жила моя кузина Бенита. Позже родились ещё две двоюродные сестры – Вероника и Бригита. Папа переписывался со своей польской семьёй.

Если я чувствовала, что папа любит приехавшую бабушку и маму – несмотря на то, что часто с ней ссорится, – то понять, как он относится ко мне, было не под силу. Мечтая о детском благоденствии, о великолепии детских садов будущего, мои родители весьма своеобразно занимались мною. Хорошо одевали. Помню красивые банты для волос, белое с голубыми розами платье, подаренное ко дню рождения. Чтобы я была под надзором, однажды в доме появилась даже бонна. Ярче, чем она сама, запомнилась мебель, с которой она водворилась в детской: софа, туалетный столик, ширма, обитая кремовым штофом, на котором были вытканы экзотические цветы и попугаи.

Бонна, правда, не задержалась. Её сменила очередная домработница, а в общем я была полностью предоставлена самой себе. Мало что понимая про окружающее, совсем ничего – про себя, я познавала мир самостоятельно, дичком. Чувствуя себя отстранённой от непонятно раскалённой жизни родителей, я даже не всегда решалась что-то у них переспросить.

– Принеси несколько газет! – кричала мама из другой комнаты.

– Сколько – «несколько»? – спрашивала я.

Мама сердилась:

– Упрямая девчонка!

Я знала: один, два, десять. Так и не поняв, сколько это «несколько», тащила маме все газеты, какие были.

Папа рассказывал: «Стою в трамвае на площадке...»

«Но ведь площадка – это место за домом, где играют дети. При чём же здесь трамвай?» – недоумевала я. Вопросы, однако, не задавала.

– Кто потерял двадцать копеек? – громко спросила я, откопав однажды во дворе из-под снега двугривенный.

– Я! Мои! – бросилась дочка дворничихи Грипа.

– На.

– Вот дура какая, – огорчилась наша домработница.

«Почему дура? – силилась я понять. – А-а, значит, Грипа сказала неправду».

Самым неумолимым было другое.

Добросовестно пытаюсь вспомнить, за что меня наказывали, – и не могу. Что-то в этой точке оплавлено давним элементарным страхом. Знаю, что не воровала, не врала, не ругалась. Носилась по квартире? На улице разбивала коленки? Было! Не слушалась? Возможно. Какие-то поводы наверняка были. В спальне родителей на спинке их никелированной кровати висела кожаная, заплетённая в косу плётка. Плётка предназначалась для меня. Когда я оставалась дома одна и трогала её, она была совсем не страшная. Но когда папа ею хлестал меня... О-о!

Отец брал её в руки и принимался меня бичевать как-то всегда неожиданно. Делал это истово, беспощадно. Мои вопли только распаляли его.

– Папочка, миленький... не надо... папочка, миленький, я больше не буду! – кричала я, извиваясь в тисках его рук и ног. – Папочка, не бей меня, не бей меня, пожалуйста!..

Но «папочка» угрюмо продолжал меня полосовать. Я начинала сама слышать, как визжу, до побеления закатываясь в плаче. Крик и визг будто отделялись от меня и повисали где-то рядом. А отец стегал и стегал по плечам, по спине и ниже, по ногам. От порки к порке я училась больше терпеть, меньше кричать и без прежней готовности просила прощения. И впрямь становилась «упрямой девчонкой», хотя по-прежнему слепо боялась отца.

Если я после очередной экзекуции не выпрашивала прощения, меня ставили ещё и в угол. Вечер переходил в ночь, родители ложились спать, гасили свет. Сухо и пусто было в душе, слёзы и всхлипы глохли, умолкали уличные звуки. Говорить «папочка, прости» – не хочу. Мир плохой и жестокий. Воображение раздваивалось. Темноту в углу у шкафа начинало заливать сверканье. Всплывал в сиянии серебра замок принца Алмаза из сказок бабушки Дарьи. Под полом скреблись заправдавшие мыши, били двенадцать настоящие часы... и Золушка, сбегающая с бала, теряла свой хрустальный башмачок...

Мама не выдерживала, вскакивала с постели:

– Иди, детка, попроси у папы прощения – и пойдёшь спать.

Буднично и тускло я всё же говорила: «Папочка, прости», меня отпускали, и я проваливалась в сон. Мне часто снилось в детстве одно и то же. Снился непонятный знак, похожий на иероглиф. Что-то вроде многоугольной буквы «Ж», переплетённой с «Ф». Знак этот то неуклонно разбухал, увеличивался, оболочка его чуть ли не лопалась, то опадал, будто у него внутри были лёгкие, способные вдыхать и выдыхать воздух. Знак почти замещал меня. Я силилась от него избавиться, отбивалась и просыпалась в смятении. Кто знает, может, так являлся мне знак Судьбы, который я смогла тогда запомнить, но не умела расшифровать.

Были и бессонные ночные часы. Иногда мне снилось, что мама умерла. Я в страхе вскакивала, на цыпочках подбегала к спальне родителей послушать, дышит ли мама, но после этого долго не могла уснуть. На улице под окном раскачивался фонарь. То треснет паркет, то скрипит вдруг дверца шкафа... С пустырей доносились пугающие звуки ноющего и лязгавшего на ветру железа, заржавевших и полуоторванных дверей погребов и складов... Нет, я не боялась, но мне было одиноко, и ночью острее, чем днём, я чувствовала, что никому не нужна.

Этажом выше в нашем доме жила семья доктора Данскера: отец – врач, мать – биолог и двое детей, мои ровесники, – Лёля и Вова. Иногда брат и сестра приходили играть ко мне. Им нравился наш аристон, отличавшийся от граммофона тем, что пластинки были из прочного лакированного картона. Чаще же отпрашивалась я:

– Мамоchка, можно я пойду к Вове и Лёле?

– Не больше чем на час, – отвечала мама.

В квартире Данскеров было мало мебели. До блеска натёрт паркет, весь день открыты форточки. На письменном столе их мамы стоял микроскоп. Но меня более всего манила к себе трапедия. Она висела в дверном проёме между двумя комнатами. Поочерёдно мы учились подтягиваться на руках, что было довольно трудно. Я часто падала, но, перемогая боль, не сдавалась, чтобы не отстать от Вовы.

У меня был повышенный интерес ко всему, что происходило в этом доме. Когда родители Вовы и Лёли приходили с работы и все усаживались ужинать, отец спрашивал: «Ну-у, рассказывайте, как у вас прошёл день». Связывая в цепочку значительные и малые события дня, дети отвечали. Я вся обращалась в слух, с удивлением отмечая, что взрослым интересно всё детское.

– Тётя Мария, за что меня отец не любил? – отважилась я спросить свою родственницу, будучи уже взрослым и много пережившим человеком.

– Как это не любил? – поражённо уставилась она на меня. – Отец очень даже любил тебя.

Тогда за что порол? Ему больше нравилась та гордая девочка, которая повторяла: «Я б ни йила б» вместо «Есть хочу»? Так я себе это объясняла. Я с детства слышала от друзей родителей: «Таких замечательных людей, как Владислав Иосифович, больше нет!» Чувствовала и сама: папа вовсе не был злым человеком. И вряд ли разгадка того, почему он без пощады бил несмышлёную ещё девчонку, кроется в чём-то однозначном. Скорее всего, это были издержки фронтовой контузии. А может, таким образом избывалась скопившаяся за годы Гражданской войны жестокость. Никто мне этого сейчас уже не объяснит, а мучает это по сию пору. За что? Почему? Не ошибаюсь в одном: для родителей я была *несвоевременным* ребёнком.

* * *

У каждого в детстве есть свой особый подспудный страх. Я боялась приюта. Само это слово вселяло в меня ужас. Как вкопанная я останавливалась, когда из дома напротив выводили парами детей, одетых в серое. Нестёганные серые сатиновые ватники вместо пальто, серые суконные шапки. Смирным строем шли они в баню или на прогулку. Осенью возвращались из леса с одиноким листиком клёна, зимой – с еловыми ветками в руках. Про приютских детей говорили: сироты. Предела мой страх достиг тогда, когда однажды меня наказала мама.

Чтобы вынуть чашку из буфета, надо придвинуть стул, забраться на него и только тогда достать её из верхней половины. Но гораздо быстрее пойдёт дело, если встать одной ногой на ключ, который торчит в нижней дверце буфета, – тогда можно дотянуться до чашки мигом. Так я всё и осуществляю. Ключ подо мной ломается, я лечу на пол, чашка разбивается вдребезги. Мама входит в комнату, всё это видит и...

– Ты что безобразничаешь? – кричит она. – Сейчас же вон из дома! Одевайся – и марш в приют!

Я не смею верить тому, что слышу.

– Вон, в приют! – не унимается мама, подводит к буфету, отрезает краюшку хлеба и протягивает мне. – Это тебе на первый случай. Одевайся и уходи к приютским! – Рука её властно указывает на дверь.

Меня начинает сотрясать дрожь. Я уже не плачу, я, кажется, вою. Разумеется, никто меня никуда не выгнал. Но с того момента я перестала верить в безграничность маминой любви, бывшей главной опорой моего существования. Чувство неуверенности, не покидавшее меня затем не один десяток лет, берёт начало где-то здесь. Я, шестилетняя, не умела тогда понять, где кончается мама и начинается женщина со своими горестями и несчастьями, которых у неё было предостаточно.

Добрым событием детской жизни стало мамино решение отдать меня в «группу» к французенке. «Французенкой» была русская, Екатерина Ивановна, – жена царского генерала Баланина, перешедшего во время Гражданской войны на сторону советской власти. Одна из комнат их квартиры, в которую меня допускали, особенно живо запечатлелась в памяти. Стены там были сплошь увешаны фотографиями дам в широкополых шляпах и военных в мундирах с эполетами. Солнышко скользило по овальным и круглым полированным рамам, ютилось в мягкости кресел. Было заповедно тихо. Молчаливый старик с пышными усами – сам генерал Баланин, – сидя в одном из зачехлённых кресел, читал.

Екатерина Ивановна, седая, с высокой причёской, одетая в шерстяную бордовую кофту и длинную чёрную юбку, учила нас не только французскому языку. Мы, десять-одиннадцать детей, учились писать, считать, оклеивать цветной бумагой картон и, обматывая его морской травой, так называемой раффи, изготавливать шкатулки и коробочки. Нас обучали реверансам, объясняли, почему не следует громко разговаривать, то есть всему тому, против чего потом восстала школа (за реверансы я в школе неоднократно получала тройки по поведению).

В рождественские дни ёлка здесь устраивалась обязательно. Собирались и дети, и родители. В инсценировке басни Крылова «Мышь и Крыса» я сыграла свою первую роль. Никто не мог понять, отчего, разучив текст Мыши, я не захотела надевать сшитый для этого персонажа серый балахон. Сама же я не решалась признаться, что он напоминает мне приютский ватник и поэтому так страшен. Здесь же я получила прозвище «любимчик». Я – «любимчик» Екатерины Ивановны. Её старческая рука гладит меня по голове, в живых глазах теплота. Я плачу ей пылкой привязанностью, преданностью и успехами.

«Группа», однако, просуществовала недолго. Конец её связан с ничем для меня не значившими тогда словами: «их сослали». Они есть, но как-то не здесь, а далеко. А как же та стена с красивыми фотографиями? Как всё будет без Екатерины Ивановны?

* * *

На летние месяцы мы с мамой выезжали в Белоруссию. И было одно причудливое лето, когда мы вдвоём оказались в покинутом и разорённом, оставленном людьми, но не Богом имении Пучково. Если то был произвол маминого желания – будь оно благословенно! Во веки веков!

Мне и поныне кажется, что у моего существования два начала. И подлинное, сокровенное берёт начало в том радостном лете. Хорошо запомнила, как мы ехали туда, в то имение, сначала лесом, затем через поля. Потом пространство стало организовываться стеной высаженных деревьев, перешедших в аллею с хорошо утоптанной ровной дорогой. За поворотом справа – сад, слева – каменный белый дом, соединённый жасминовыми и сиреневыми аллеями с другим – двухэтажным, деревянным, с террасами. И ни единой души вокруг. Ближайшая деревня Попадино в полутора верстах.

Поселились мы в одной из уцелевших комнат каменного дома, с каменными же гулкими полами, повывбитыми зеркальными стёклами в дверях, винтовой лестницей, ведущей на чердак. Вокруг дома на клумбах цвели белые и розовые маргаритки. За домом, примерно на версту, тянулся фруктовый сад. Этот обломок прошлого, будто выпавший из времени, был в то необычайное лето предоставлен разрушению и... нам. Для чего? Скорее всего, чтобы узнать, каким бывает приволье, и чтобы затем всю жизнь вспоминать о естественном уголке земли, освоенном прихотливой фантазией человека.

Мы поднимались рано. Мама вручала мне ножницы: нарежь букет роз. Розовый сад – за оградой через дорогу. Множество кустов с белыми, алыми, чайными и почти совсем чёрными розами. Трава и листья были ещё в росе. Она холодила. Шипы вонзались в пальцы, царапали руки, геройски защищая цветы, которые я всё-таки срезала. Солнце было ещё не жаркое. На стеклянных ярко-синих крылышках то планировали, то зависали стрекозы. Жужжа, пировали осы и пчёлы. Захлёбывались песнями птицы. Этот безнадзорный сад уходил от человека, уводя в одичание налаженную красоту. Он, как живой, давал ощутить свой нрав, протест и... беззащитность.

За аллеями и садом начинались поля. Забравшись в горох с его ползучими сочными и ломкими стеблями, разнимая половинки стручков, я пробовала сладкие горошины и наблюдала, как в жаркий полдень высоко в небе резвится и заливается песней крохотный жаворонок. У опушки леса собирала землянику. Ягод было полно и в саду: малина, крыжовник, смородина. Мама в медном тазу варила варенье.

Как никогда раньше, сумасбродка-мама здесь много пела, и пела именно о том, что происходило вокруг: «Вот вспыхнуло утро, румянятся воды...» Воды озера, куда мы ходили купаться, действительно румянились, и «быстрая чайка» касалась крылом его глади. На озере сохранилась старая купальня, зелёный мох на одной из уцелевших стен задержал оброненное

мамой обручальное кольцо. Никого не стесняясь, кого-то и что-то славя, мама победно кричала: «Нашла!..» И я самозабвенно любила маму.

В глубоких заводях озёр по имени Удача и Устивье водились сомы. Но я была уверена, что там в придачу водятся и черти. По узкому болотистому перешейку между озёрами были проложены мостки. Их называли «кладки». Не решаясь признаться маме, что опасаясь чертей, при наших с ней походах через облитый лунным светом сад в деревенскую баню я смотрела не под ноги, а по сторонам: вдруг выскочит рогатый и чёрный? И каждый раз проваливалась между досками кладок.

Бог мой! Каким нестрашным был тот детский страх.

Иногда наше уединение нарушали откуда-то наезжавшие и взрослые, и дети. Играя в горелки, все становились по двое:

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Глянь на небо: птички летят,
Колокольчики звенят.
Раз... два... три...
Последняя пара, беги-и-и...

И вместе со всеми, огибая кусты и кочки, я мчалась, чтобы успеть соединить руки с тем, с кем была в паре. Схватившись за канаты, раскачивалась с кем-нибудь вдвоём на висевших в саду качелях: выше, ещё выше и отчаянней, чтоб взлететь над забором, над садом, схватить глазами кусочек дальнего поля, вырваться на простор, заглотнуть толику головокружительной выси. Что такое воля вольная, наступление утра, сумерек, я поняла тогда.

Много лет спустя узнала: до революции имение Пучково принадлежало помещику Шишкину, содержавшему в Петербурге Малый театр. Говорили, что управляющий у него был зверь; сам помещик слыл добрым. В имение он приезжал с артисткой-цыганкой, которую любил. Была у него ещё причуда: ежегодно менял мебель. Простоит год обстановка из карельской берёзы, потом на красное дерево поменяет, затем на орех, а ту, что отслужила, велит на чердак стаскивать. Во время революции помещик уехал за границу, а крестьяне окружающих деревень мебель растащили.

В Пучкове мы с мамой провели только одно лето, году в двадцать пятом. В последующие годы ездили в соседнюю деревню Попадино, где жили братья бабушки Дарьи: дядя Гриша и дядя Коля. Всего братьев было четверо. После смерти отца каждый получил в надел по девять десятин земли. Два брата по-своему распорядились наследством и уехали, а дома двух оставшихся в Попадине братьев стояли рядом, были разделены забором. В хозяйстве у обоих имелись коровы и другая живность. Оба сами сеяли хлеб, сами убирали. Огород и сад давали овощи, ягоды, яблоки.

День начинался с зарёй. Хозяйки выгоняли из хлева подоенных, неуступчиво толкавших друг друга, мычавших коров. Собранное стадо, брнчащее колокольцами, пастух уводил на пастбище. В доме просыпались, завтракали и отправлялись в поле. Вместе со всеми по холодку шла и я. Иногда мне давали серп, и я жала; иногда дёргала лён, увязывая его в маленькие снопики. Когда солнце было в зените, наступала пора «шевелить сено», и, протрясая его небольшими детскими граблями, я выбирала отсыревший низ кошенины, чтобы его прогревали солнечные лучи. Но чаще всего мне доставалось милое дело: гонять коня на молотбе. Посередине крытой пристройки к току стоял столб с перекладиной, к которой был привязан конь. Сидя сбоку, я погоняла коня, что приводило в движение молотилку. Устав, соскакивала и бежала смотреть, как взрослые задавали в молотилку снопы, как шумно оттуда сыпалось шелковистое зерно и как из веялки оно выходило совершенно чистым, без половы.

С отрадой вспоминаю, как в обед пили квас, ели огурцы с мёдом и хлебом, отдыхали в тени, перед тем как вновь взяться за работу.

Конечно, меня отправляли домой раньше. Уже сидя на крыльце дома, я видела, как хозяйка встречала коров, зазывая их в хлев по имени – Рыжуха, Бурёнка, Капелька, – и, взяв ведро, принималась их звонко доить.

Солнце катилось к закату. И на фоне смуглого неба, на горизонте появлялись девушки, возвращавшиеся с поля. На плечах у каждой мирно лежал острый серп. Тягуче раскатывая слова, они выпевали: «По Дону гуляет, по Дону гуляет, по Дону гуляет казак молодой...» Быстро темнело. В хату вносили лампу, разливали в жбаны парное молоко. Садись ужинать. Ели молча и расходились: кто спать, кто гулять.

В этой деревне, среди сверстников и взрослых, в атмосфере дружного труда я избавлялась от чувства одиночества. Меня замечали как всех, кормили как всех, как со всеми шутили. Как в некий слаженный целостный мир, успела я там окунуться не только в атмосферу трудолюбия, но и в обрядовую стихию. В Петров пост в июне вывозили на поля навоз. День этот назывался «толока». После столь нечистой работы, по обычаю, любой человек мог окатить водой другого. Вот и окатывали, а то и просто хватали на руки и бросали в озеро, благо деревня стояла на самом его берегу. И обижаться не полагалось!

Самым поэтичным летним праздником был, конечно, Иванов день – день Ивана Купалы. Девушки плели два венка, бросали их в озеро и жадно следили, соединит их или разведёт вода. Если соединит – быть замужеству, а нет – так в этом году ему не случиться. Праздник, однако, разгорался к ночи. Считалось, что в эту ночь цветёт папоротник и тот, кто увидит его цветущим, найдёт клад. Боясь наступить на лягушку, страшась сырости и крошечной тьмы, я без оглядки углублялась в чащу леса: вот-вот увижу что-то немыслимое, невообразимо сверкающее. Нет, цветущего папоротника увидеть не довелось, но во мгле то и дело мелькали светлячки, зеленовато-фосфорический огонёк в руках оказывался куском гнилушки. Лес обманывал. Я возвращалась на поляну, где уже вовсю полыхал огромный костёр. Пахло дымом, гарью и ночной свежестью. Взрослые разгонялись и перепрыгивали через огонь. Куда-то ввысь отлетали их пронзительные возгласы: «ох», «ух».

И вдруг в деревне Попадино всё изменилось. Идиллический мир расщепился. Откуда-то выметнулось слово «золото».

Возможно, эти события не задели бы моего сознания, если бы к ним не был причастен отец. Государство реквизировало церковное золото. Близлежащим городом был Невель. В деревне перепуганно и гневно говорили, что из невельской церкви забрали золотую и серебряную утварь. Шептали: «Грех-то какой!» Боязливо крестясь, вещали: «Бог накажет! Кошунство!» Людей, которые вершили столь святотатственное дело, называли «антихристами». Среди них был мой отец, принимавший участие в описи.

Не понимая, что значит «антихрист», с любопытством и испугом я смотрела, как по деревенской улице, провожаемый мрачными взглядами местных жителей, возвращается папа – спокойный, видимо убеждённый в своей правоте, – смотрела и... не верила в его показное спокойствие.

* * *

Чуть позже в девятилетнее сознание вкатились два ещё более тяжеловесных и беспощадных слова: «раскулачивание» и «ссылка». И второе, связанное с моей первой учительницей Екатериной Ивановной, стало даже зримым. В семейном альбоме дяди Коли хранились фотографии двух старших дочерей. Они были сфотографированы по отдельности, каждая в фате и подвенечном платье, рядом со своим женихом. Теперь к ним прибавились тусклые любительские фотографии, присланные из Якутии и с Соловков. Я не верила, что красивые лица невест

и непохожие на них суровые на любительских карточках – одни и те же Мария и Нина. Взрослые объяснили, что они так не похожи на себя потому, что одна больна теперь туберкулёзом, а у другой – порок сердца. Первой была раскулачена и сослана в Якутию семья Марии. Вторая сестра, Нина, вышла замуж за работника ОГПУ, жила в Москве. К ним приехал сбежавший из ссылки муж старшей сестры. Жильцы донесли, что у работника ОГПУ кто-то прячется. Проверили. Подтвердилось. Муж Нины и сама она тут же были отправлены в ссылку на Соловки.

События развивались стремительно. Недолго спорили, к «середнякам» или к «кулакам» отнести семейства братьев. Дядя Коля, имевший земли больше (ему переписал свой надел старший брат) и бравший в горячую пору «наёмную рабочую силу», был раскулачен первым. Дядя Гриша, в доме которого я жила то последнее лето, – вслед за ним. Обоих выслали. И один, и другой имели по шесть детей. Тех, что были ещё не самостоятельны, распределили по детприёмникам для трудновоспитуемых, остальных раскидали куда попало.

Так из Попадина были выдворены и эти, и другие семьи. Пахучий, вкусный, налаженный и осмысленный уклад деревенской жизни, способный отстраивать человеческую душу, был стёрт с лица этой земли.

* * *

Менялось многое и в городе. Примерно с 1926–1927 годов полупустой Петроград интенсивно превращался в перенаселённый Ленинград. Люди стекались сюда из деревень, из других, более мелких городов. Началось так называемое уплотнение. В нашу шестикомнатную квартиру одна за другой вселялись семьи с ордерами на площадь. И вскоре за нами осталось только две комнаты.

Каждый из новых жильцов устанавливал на кухне свой стол. Став центром, кухня превратилась в говорливое и шумное место, где тугим огнём гудели примусы, чадили керосинки. Сначала казалось, что это временные, ненадолго зашедшие сюда люди, но вскоре и я поняла, что они поселились здесь навсегда. Как и все остальные, наша квартира стала коммунальной.

Иногда здесь бранились. Бывало, над кем-то подтрунивали. «Коммунистка Комманова», как называли жиличку, поселившуюся в самой большой комнате, выкинула как-то в помойное ведро свои фильдеперсовые чулки. Наша домработница решила, что они ещё сгодятся для носки, и вытянула их оттуда.

– Ты только подумай! – смеялась мама, пересказывая эту историю отцу. – Она выхватила у Фени чулки и стала кричать: «То, что я выбросила, не смеет никому принадлежать!»

Курьёзов в «коммуналке» хватало.

В 1927 году в нашей семье произошло важное событие: у меня появилась сестра. Несколько дней я перебыла у родственников отца. Вернувшись домой, застала свою сестричку спящей в большой коробке из нежного сандалового дерева. Когда она рассматривала потолок, я прилагала немалые старания, чтобы попасть в поле её зрения. Мама хотела назвать её Галей. Папа воспротивился: пусть будет Валентиной.

Здесь же, на карповской квартире, три года спустя родилась ещё одна сестра – Реночка, Рената.

В семье стало хлопотнее, теснее, но и уютнее. Родители в конце концов выяснили свои отношения, перестали ссориться. Папа по-прежнему с работы приходил поздно. Но в те редкие вечера, когда он оказывался в семейном кругу, я замечала, что к сестричкам он относится несравнимо нежнее, чем ко мне.

Вдруг мой папа исчез. Какой-то человек на улице «опознал» в нём царского офицера, и папу арестовали. Посадили его в тюрьму на Шпалерной. Спустя несколько дней маме разрешили свидания; она брала с собой и меня. На выяснение ошибки ушло около месяца. После выхода из тюрьмы папа был переведён на другую работу.

К раскулачиванию в Попадине он никакого отношения не имел. Но коммунистов стали мобилизовывать, и вскоре папа был отправлен «на раскулачивание» в Сибирь. Из разговоров окружающих явствовало, что «классовая схватка» в деревнях перерастает в настоящее сражение: «кулаки убивают из-за угла, могут сжечь живём». В самый разгар таких пугающих разговоров отец и уехал.

Письма от него приходили редко. Мама нервничала. Навещавшие маму друзья также тревожились за отца. Меня просто ошеломила присланная из Сибири папина фотография. Я его не узнала. Он отпустил бороду, выглядел необыкновенно измученным и худым.

Пробыл отец в Сибири около года и вернулся оттуда действительно каким-то другим, совсем замкнувшимся.

По обрывкам фраз и, главное, по некоторым его алогичным, как казалось, поступкам можно было заключить, что он в те годы жил весьма сложной внутренней жизнью, разрываясь между велениями партийного долга и простой человечностью. Не знаю, что ему стало понятно в Сибири, но, возвратившись оттуда, он забрал в Ленинград и прописал у себя двух сыновей попадинского раскулаченного дяди Гриши: старшего – Колю и моего милого сверстника Володю. Колю устроил на работу и на рабфак, после чего тот поступил в институт. В полном согласии с маминым желанием позже родители прописали к нам уже на другой квартире троих детей второго раскулаченного – дяди Коли: Марию, Феофана и Шурика.

То и дело в родительских разговорах стало возникать слово «чистка». Очередное эпохальное обозначение прочно прописалось в их лексиконе. «Чистка» означала, что там, где папа работает, происходит очередная проверка социального происхождения, выяснение, есть ли родственники за границей, и т. д. На последний вопрос папа отвечал «есть», поскольку в Риге жили его мама и сёстры. Кого-то из партии периодически «вычищали», что вызывало дома множество толков. Вкус к доламыванию старого быта искал себе продолжение в новых формах разрушения.

По ходу жизни менялись отношения среди фронтовых друзей отца. У одних «вспыльчивые» прожектёрские упования двадцатых годов уступили место более трезвым оценкам, у других они непредсказуемым образом переродились. Обозначившееся материальное неравенство сказывалось даже на внешнем облике старых знакомых родителей. В тех же фронтовых шинелях приходили к нам Тихонов и Красовский, зато один из прежних друзей – Шлемович – был переведён в Москву, в Кремль. Его наезды в Ленинград превращались в сущее празднество. Он привозил такие вкусные вещи, о которых мы просто не имели представления: например, хурму, которая была тогда заморской редкостью, икру, ветчину... Обещая хорошо устроить, Шлемович уговаривал отца переехать в Москву. Но папа наотрез отказался: «Из Ленинграда никуда не уеду. Трудности – дело временное. В том, чтобы их одолевать здесь, вижу своё назначение».

* * *

Самым близким товарищем отца был Иосиф Антонович Курчевский. Папа давал ему рекомендацию в партию. Назначенный на пост директора завода имени Козицкого, Курчевский убедил отца стать его заместителем. Немаловажную роль сыграло, думаю, обещание отдельной квартиры. Родителей тяготила «коммуналка».

Так мы переехали в гораздо худшую, чем на Петроградской стороне, но в отдельную квартиру на Первой линии Васильевского острова. Она была на первом этаже, и окна выходили на северную сторону, что делало её безрадостной. Однако нам, трём сёстрам, нравился двор, уставленный поленницами дров, в который мы выходили гулять. При игре в «казаки-разбойники» за эти поленницы было интересно прятаться. Когда темнело, окна четырёх этажей вспыхивали оранжевыми, зелёными и золотистыми абажурами. Двор становился уютным, и было жаль покидать его, когда из открывшихся форточек нас, сдружившихся между собой детей,

одного за другим выдёргивали родительские голоса: «Лида, домой!», «Коля, хватит!», «Валя, Тамара, быстро ужинать!».

Ещё в 1927 году я пошла в школу № 182, располагавшуюся на углу площади Льва Толстого и Большого проспекта Петроградской стороны. Прежняя система обучения в тот период подвергалась пересмотру. Вводились новации: то один преподаватель должен был вести все предметы («комплексная система»), то опробовался «бригадный метод», при котором спрашивали одного ученика, а отметки ставили всей бригаде: класс был разбит на несколько бригад. В класс приходили педологи, на какие-то доли секунды разворачивали перед нашими глазами цветные таблицы, пёстрые плакаты, рисунки с кольцами и треугольниками. По памяти мы должны были воспроизвести количество предметов, цвет, форму и расположение. На их анкеты «Кем хочешь быть?» ученики отвечали с вызывающей непринуждённостью: «налётчиком», «змеей», «фокусником». Я написала «машинисткой». Уже в четвёртом классе изучался доменный процесс. Прежде чем учить, где следует ставить запятые, мы узнавали, что такое «шихта». Знаний я из этой школы вынесла немного. Больше, чем учителя, запомнились вожаки в юнгштурмовках.

Когда при переезде на Васильевский остров меня зачислили в школу № 4 на Среднем проспекте, мне шёл одиннадцатый год. В этой школе решительно всё пришлось мне по душе: и ученики, и педагоги. Заниматься стало интересно, привлекали ботаника, физика, химия.

С питанием и одеждой становилось всё хуже и хуже. Для руководящих партийных работников в те годы был установлен партмаксимум. Оклад не должен был превышать шестисот рублей. Несмотря на то что отец получал четыреста и был прикреплён к закрытому распределителю «Красная звезда», родители бились как могли. Стремясь что-то добавить к бюджету семьи, мама на зингеровской машине строчила для артели чехлы и рабочие брезентовые рукавицы. Нам, детям, давали пить темно-красную микстуру «железо» и рыбий жир, который мы спешили заесть посоленным ломтиком хлеба. Как нечто из ряда вон выходящее я долго вспоминала визит к папе на работу, где он отвёл меня в столовую и накормил картофельным пюре с кусочком мяса.

Однажды из командировки отец привёз пару живых гусей. Несколько дней их держали в сарае, затем переселили в ванную. Как раз в этот момент и пришли ко мне девочки из школы. Желая им показать степенных белых птиц, я немедленно повела их в наш «зоосад» из двух гусей. И когда через несколько дней в классе зачитывали список прикреплённых к диетстоловой, одна из побывавших у меня одноклассниц подняла руку и сказала: «А Петкевич не надо прикреплять. У них дома гуси!»

Выступление девочки потрясло. Сначала я восприняла его как не очень ещё понятный, но донос, а затем пыталась оправдать, как мама: «Семья девочки не прикреплена, как мы, к „Красной звезде“. Им живётся труднее».

Сидя дома, я как-то рассматривала старую подшивку журналов, на страницах которых было бесчисленное множество фотографий времён Первой мировой войны: вырытые ямы и ещё не сброшенные туда убитые солдаты, непролазная грязь, по которой тащились усталые вояки, и снова могилы, и опять трупы, трупы. Фотографии пугали. Я спросила маму:

– Мамочка, что страшнее всего не свете?

Будучи уверена, что мама ответит «война», удивилась, когда, опустив шитьё, она тихо, но чётко выговорила:

– Голод, детка!

Значит, не война? А что такое голод? Этого я ещё действительно не знала.

Социальное положение отца тем временем заметно изменилось. Как сказали бы теперь, он «выпал из номенклатуры». По каким-то частным вопросам он, как говорила мама, имел особое мнение, часто его высказывал и стал «неудобным и неугодным». Тогда бытовало выраже-

ние: «бросать на прорыв». Отца по партийной линии и стали «бросать» на хозяйственно-административную работу то в одно, то в другое место.

Ленинград нуждался в топливе. Вокруг города в болотистых местах имелись залежи торфа. Их надо было разрабатывать. Отца назначили директором Андогостроя – торфоразработок под Череповцом.

Лето первой папиной загородной службы запомнилось хорошо. В светлую звучную июньскую ночь с преогромным интересом я смотрела, как сквозь пелену клубящегося тумана на реке Суда причалила к берегу деревянная толща паромы, перекинувшего нас затем на другой берег. Выходило солнце, дымилась гладь реки; среди пересвиста и перещёлкивания птиц я пыталась распознать соловьиное пение. «Ну, слышишь? Вот же он, вот!» – подсказывала мама.

Увидев приготовленное для нас жилище – разгороженную на две половины цветастой ситцевой занавеской комнату, – я растерялась. Мама, однако, звонко рассмеялась и сказала: «Мне здесь решительно всё нравится!» Тогда и мне здесь тоже всё понравилось, особенно мамин смех и благодарная улыбка отца.

По реке Андоге сплавляли лес. Сбитые в плоты стволы то затирало, то безудержно несло по течению. Задавленная плывущим деревянным настилом река отпугивала. Много раз я видела на открытых делянках змей, часто меня застигала гроза в лесу, но всё обходилось. Моя любовь к лесу граничила с одержимостью. И лес миловал меня.

В семье между тем возникла сложная, никак нежданная проблема. После перенесённого ещё на холодной карповской квартире воспаления лёгких у моей средней сестры Валечки начался туберкулёзный процесс. Поставить её на ноги могло только усиленное питание. После долгих и мучительных раздумий родители приняли решение: выписать бабушку Дарью, оставить меня с ней, чтобы я продолжала учиться в Ленинграде, а самим с младшими детьми уехать к месту следующей папиной работы – на Ларьянстрой под Тихвин, поселиться в деревне и купить корову, чтобы молоком и маслом поддержать здоровье сестёр.

Это стало коренной ломкой всей прежней жизни. Многие мне сейчас видятся в неординарном решении родителей. Во всяком случае, предельная степень серьёзности в оценках главного и второстепенного, способность ограничивать свои желания и привычки. Они оставались приверженными идее «строительства нового общества» и заботе о здоровье детей.

Итак, все уехали. Мы остались вдвоём с бабушкой Дарьей. На самом деле я отныне, более чем когда-либо, оказалась предоставленной самой себе.

В школе самым любимым предметом была литература. А самым любимым учителем – Михей Никифорович Глазков. Читая «Муму», в самых душещипательных местах он умело выдерживал паузу, как бы стараясь не заплакать, подносил к глазам платок. Наблюдая это, и мы давали волю слезам, чего он от нас и добивался.

Открыв мир книг, я поглощала их одну за другой. Всё подряд. От подаренных отцом за хорошие отметки сказок Андерсена, братьев Гримм и классиков до дешёвых бульварных романов, неведь откуда появлявшихся в доме. Нашупав эту заповедную страну, я погружалась в мешанину домыслов и правды. Вера Засулич, Наташа Ростова, Жанна д'Арк плотно заселяли мир, который я стала почитать истинным. Ослепительный, достоверный, он был настолько ярче и значительнее мира окружающего, что я спешила разделаться с домашними заданиями, дабы приняться за Данилевского, Войнич или Лермонтова.

Меня также безмерно волновала музыка. Заранее вычитав в радиопрограмме, когда будут транслировать концерт Бетховена, когда Вагнера, я придвигала к топившейся печке оттоманку и, глядя, как огонь превращает поленья дров в светящуюся раскалённость, слушала музыку.

При очевидной внутренней и внешней робости на меня накатывала порой какая-то всепоглощающая сверхбезумная уверенность в том, что сама могу сейчас раскрыть рояль, к которому никогда не прикасалась, и бурно, с безошибочной технической точностью воспроизве-

сти некую музыку эфира, которую «слышала». А иной раз чудилось, что, властвуя над миром, запою красивым, как у Консуэло, контральто.

Разрыв между прекрасной жизнью, которую я проживала в часы уединения, и действительным существованием явился причиной тяжёлого душевного кризиса, который я пережила в четырнадцать лет. Не принимая несправедливости, обострённо реагируя на грубость, я мало кому верила, чувствовала себя отверженной и разочарованной в жизни. Избегая общения, в школе во время перемен убегала на нижний этаж, чтобы скрыться от вопросов, от подруг. Думала о самоубийстве – жить было незачем.

Однако заземлённость школьных интересов настойчиво выравнивала существование. Нашими отличниками Ильёй Грановским, Ноем Левиным, Борисом Магаршаком и Асей Чижиковой гордилась вся школа. В первых ученицах числилась и я. Чтоб не уступать в изобретательности ответов другим, надо было постоянно что-нибудь придумывать. Скажем, для убедительности мотивировок своей нелюбви к Маяковскому за его обращение к Пушкину: «После смерти нам стоять почти что рядом. Вы на „П“, а я на „М“» – у доски я мелом рисовала кубы, над означенными «П» и «М» воздвигала условные схемы поэтов и, торжествуя, цитировала журнал «Бегемот»: «Дорогой товарищ, обратите внимание, между нами стоит некоторое „Но“». Я торжествовала, а умные глаза педагога Гильбо, преподававшего литературу в седьмом классе, снисходительно жалели меня.

Каждый год меня в школе выбирали или председателем отряда, или председателем класса. От мальчиков я получала записки с объяснениями в любви. Именовалась в них «мадонной» и «колдуньей». Отличала самые смешные из них, вроде: «Открыть только в 12 часов, непременно при красном свете». Сама не влюблялась. Была немало ошарашена, когда одна из учениц, задержав меня после уроков, спросила:

– Скажи, что ты делаешь, чтобы нравиться мальчишкам?

Я не думала, что об этом можно так деловито спрашивать. И потом считала, что все мои ровесницы от кого-нибудь получают похожие «секретки». Однако после разговора с девочкой начала понимать, что нравлюсь мальчишкам больше, чем другие.

1 декабря 1934 года – день убийства С. М. Кирова – застало отца дома. Ни с кем не разговаривая, подперев рукой голову, папа сидел за столом. Меня послали за газетой.

Падая сухой снежок. Возле газетного киоска на углу Первой линии и Среднего проспекта в ожидании «Вечёрки», вытянувшись в длинную очередь, стояли подавленные известием люди. Друг с другом – не разговаривали.

Вернувшись домой, я застала папу в прежней позе. Растерянность отца, очевидная глупина его переживаний придавали событию зловещий смысл. Газета ничего не прояснила: кто убил и почему? Возникшее позже неизвестно из какого «около» имя убийцы – Николаев – тоже мало что говорило. Ранним декабрьским утром, когда ещё не рассвело и горел электрический свет, нас в школе построили и повели прощаться с Кировым. Мы вступили в бесконечный скорбный людской поток, молча прошли мимо гроба. Неяркое освещение, шарканье ног, траурная музыка и – то ли мне приснилось позже, то ли пригрезилось там, наверху, на галерее, появившееся на мгновение и исчезнувшее лицо Сталина. Таким я запомнила тот день.

На мои четырнадцать лет пришлось первое реально задевшее сознание политическое убийство.

При вступлении в пионеры, произнося текст торжественного обещания: «Я, юный пионер Союза ССР, торжественно клянусь бороться за дело рабочего класса», я ощущала ужасный испуг и стыд. Теперь, после убийства Кирова, на вопрос отца: «Ты готова вступить в комсомол?» – пылко и чистосердечно ответила: «Да!» Готовность совершать полезное и угодное Родине переполняла меня.

В Василеостровском райкоме комсомола я без запинки ответила на вопросы о международном положении, назвала фамилии наркомов, и мне торжественно вручили комсомольский билет.

В 1936 году во все средние школы присылались так называемые комсорги ЦК. Это были люди с высшим образованием и специальной подготовкой. Мы мгновенно и весело сгруппировались вокруг умного, интересного Давида Самойловича Хейфица, назначенного в нашу школу. Выпускали стенгазеты. Клеили, рисовали, переписывали, вывешивали. Вместе совершали экскурсии в музеи, прогулки по городу, останавливаясь у памятников, у мемориальных досок. Часто ходили в театр. Форма культпохода ничуть не мешала театральным потрясениям. Я не замечала никого ни вокруг, ни рядом. После «Маскарада» Лермонтова навсегда заболела театром. Александринский театр стал любимым. Оперные спектакли Мариинского театра, такие как «Русалка», «Мазепа», также поражали воображение.

На диспутах «О любви и дружбе» я отстаивала веру в великую любовь и великую дружбу. Вопрос: «А что, если друг или любимый человек изменит, предаст?» – воспринимался как подножка. Я даже не искала ответа, поскольку такие «закавыки» расшатывали мои романтические представления о жизни. Мы и не подозревали, насколько близко время, когда именно на эти вопросы придётся отвечать по существу.

С приходом в школу комсорга моя общественная деятельность стала особенно активной. Как делегата меня стали посылать на районные и городские конференции. Перед ноябрьскими праздниками 1936 года сказали, что в Смольном на моё имя выписан специальный пропуск: я удостоена чести стоять на трибуне в день парада. Взволнована этим была не только я, но и родители. Увиденные 7 ноября с трибуны парад и демонстрация закрепились в сознании как зримый образ мощи, согласного и радостного единства людей.

Пыл юности, заносчивый подъём помыслов, вера в завтрашнее торжество всеобщей справедливости, о чём так часто говорил отец, стали не только «дымом» возраста, но и насущным духовным хлебом из-за испанских событий. Как живой язык пламени, испанская война прожгла географическую карту, приковала к себе сердца и мысли. Имя Долорес Ибаррури, провозглашённая ею формула: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!» – импонировала необычайно. Я верила в то, что «Но пасаран!» – преграда любой несправедливости, и следила за событиями в неистовом ожидании победы. В Испанию уезжали мужчины-идеалы, мужчины-герои. Я была влюблена в этих героев. Восхищение добровольно уезжавшими на войну принимала за личную причастность к событиям.

Ленинградские семьи охотно разбирали смуглых ребятишек, прибывавших из Испании. И это также было прекрасно, человечно и празднично. Да, все мы, живущие на земном шаре, – одна семья; победа Народного фронта не за горами.

Посещение Дома политкаторжан, куда меня отец брал с собой, идеи интернационального единства, привитые им, убеждение, что в жизни не должно быть места неправде, как нельзя лучше дополняли одно другое.

Меня волновала мысль, что, оказывается, и сегодня, сейчас – а не только в легендарные времена Жанны д'Арк – можно совершать великие подвиги, геройски сражаться и погибать за идеалы свободы и братства. Испания сблизила мечту и реальность. Это было самое потрясающее чувство, испытанное мною в те годы.

Патетическое ожидание победы, однако, постепенно теряло остроту. О событиях стали говорить глуше, путаннее и туманнее, а потом вообще всё вокруг рассеялось. В душе осталось что-то похожее на невынутую занозу, которая сидела там много-много лет. Тем не менее война в далёкой Испании заставила меня с гораздо более осознанным интересом вникать во всё, что происходило и в моей стране.

Радио и газеты были непререкаемым авторитетом. Вера в газету равнялась безоговорочной вере в Правду и Справедливость, а ими – и только ими – вымерялась жизнь. Дело пром-

партии, скажем, представлялось поучительным романом или повестью. Рамзин, Хрусталёв и другие, верила я, действительно виновны. Их наказали, разъяснили ошибки, они сожалеют о своих заблуждениях и теперь делом доказывают, что впредь готовы служить народу. Примерно так же поверхностно судила и об оппозиции: «левая» ли, «правая» – было несущественно.

* * *

Впрочем, на безоблачное восприятие общественной жизни иногда напал мглистый туман.

Один незначительный случай тех дней не пожелал уйти из памяти. Я из-за болезни не пошла на Первомайскую демонстрацию. Рвалась. Переживала. Мама уступила в малом – разрешила постоять возле ворот дома. Мимо проезжали празднично разукрашенные грузовики с разного рода макетами, знамёнами, портретами вождей. С оркестром и песнями шагали демонстранты. С аэропланов сбрасывались листовки. Я подхватила одну из них: «И тот, кто сегодня не с нами, – было написано там, – тот против нас!» Слова резанули огульной недобротой. Поэтическо-политическая строка как-то напрямую относилась к тому, что я не в рядах шагающих в колоннах. Не вникая в причины, меня кто-то уличал, даже обвинял. Праздничный настрой померк.

Не много у меня было доверительных бесед с отцом. Но одну из них я хорошо запомнила.

Каждый комсомолец шефствовал над пионеротрядом. После проведения сбора, подражая любимому учителю литературы, я читала своим пионерам «Муму», страстно мечтая вызвать у подопечных такие же слёзы, какими плакала сама... Это удавалось. Я с охотой бегала на эти сборы. Но однажды, придя в назначенный час, увидела на своём месте другую пионервожатую, девочку из параллельного класса.

– Теперь я вожатая этого отряда, – без смущения сказала она.

Круто повернувшись, я ушла. Дома неутешно рыдала. «Кто её назначил вместо меня? Отчего со мной никто не поговорил? Почему меня не предупредили?» Я поделилась с отцом. Но вместо того, чтобы разделить со мной обиду, отец стал отчитывать меня:

– А кто дал тебе право неизвестно на кого бросить отряд и уйти? Ты разве знаешь эту девицу? А может, она – враг? Ты обязана была выяснить, в чём дело. Должна была бороться!

Не ведая, как следует себя вести в подобных ситуациях, я чувствовала какую-то правоту отца, но понятие «враг» и формулу «бороться» принять не могла. По моему разумению, бороться можно было за победу в Испании. Но в своей школе, отряде, среди учеников?... Глагол «бороться» я отвергала ещё и потому, что он напрямую связывался с отношением отца ко мне. Наказывая меня, он «боролся» со мной.

Я уже привыкла жить с бабушкой, в известной степени отдалилась от родителей. Свою добрую и ласковую бабушку очень любила, хотя и мучила капризами: не сделаешь по-моему – не буду обедать; не позволишь пойти гулять – не сяду за ужин; не так сказала – вообще не притронусь к еде. Когда родители присылали нам провизию – творог, сметану, масло, – я, не задумываясь над тем, как тяжело это им достаётся, собирала своих подружек, и они в один присест уминали всё, что бабушка рассчитывала растянуть недели на две. История с гусями странным образом отложилась во мне. Я считала, что девочки вообще всегда голодны. Бабушка чуть не плакала, а отец, приезжая в город, опять «учил» ремнём. Поделом, конечно. Но я становилась старше и мучительное чувство стыда и унижения переносила трудно. С течением времени, правда, «кожаные изделия» сменил другой способ наказания.

Мне было уже шестнадцать лет, когда в школе разрешили на вечерах танцевать. До этого запрещалось. А тут вдруг объявили, что на школьном вечере будут не только танцы, но и вовсе – маскарад. Это было так романтично и ново, что наша фантазия разыгралась в полной мере. На нас с одной девочкой возложили обязанность поехать в театральные мастерские и отобрать

там костюмы. С неописуемым энтузиазмом я рылась в кладовых, подбирая самые экзотические костюмы: арлекина, русские с кокошниками, цыганские, испанские. Себе выбрала польский костюм: казакин из голубого бархата, отороченный мехом, и белую бархатную юбку, расшитую серебром. Оформление квитанций задержало нас допоздна. До начала оставалось около полу-часа, когда, забежав домой, я налетела на маму:

– Дай скорей поесть!

Вот тут и возникло грозное папино:

– Как ты смеешь таким тоном разговаривать с матерью? Как смеешь требовать?

Снова отец был прав. Я тут же бросилась к маме просить прощения. Мама простила. Но папа был не в духе, и это решило дело.

– Никуда не пойдёшь, никаких маскарадов!

– Папочка, прости, я была не права. Разреши мне, пожалуйста!

– Нет.

Всё было кончено. Я знала, как неколебимо отец отстаивал своё слово. Доводы, что в школе никто не знает, как распаковать мешки с костюмами, тоже впечатления не произвели.

– Позвони и расскажи по телефону.

Плакали мои сестрёнки, просила за меня мама. Ничего не помогало. По времени маскарад был уже в полном разгаре, а я, опухшая от слёз, сидела взаперти. Сестрёнки доносили, что разговаривать с отцом пошёл мой дядя. Совсем уже поздно дяде-парламентёру удалось уломать отца, мне разрешили пойти, но за время этого сражения я так перемучилась, что уже и сама не хотела идти.

– Как же я там появлюсь с заплаканными глазами? – обратилась я к своим защитникам.

Сообразив, что маскарадная маска, о которой сестрёнки были наслышаны, поможет скрыть опухшее от слёз лицо, они куда-то умчались и притащили не что-нибудь, а противогаз: решили, что именно это и есть аксессуар маскарада. В быту этот предмет защиты от химической войны также именовался маской. Плохо запомнив первый в своей жизни маскарад, поскольку исправить настроение было уже нельзя, я никогда не могла забыть открытой радости своих сестричек за то, что была прощена. Не оставляло и недоумение от пристрастия отца наказывать именно меня.

Как-то, встретив меня под Тихвином зимой на розвальнях, папа выбрал дальний кружной путь через лес. Ярко-багровое солнце садилось. Безмолвный заснеженный лес был невообразимо, неправдоподобно красив. Хотелось думать, что, самолично встретив меня, отец преподнёс мне эту красоту в подарок, как бы желая, чтобы я забыла его прошлую жестокость. И я всё простила ему. Всю последующую жизнь я вспоминала нашу молчаливую поездку, звучный скрип полозьев, мороз и красноватый предзакатный лес.

Если под Тихвин я ездила к родителям на летние и зимние каникулы, то в близкую Ириновку, куда папа был позже переведён, – еженедельно, с субботы на воскресенье. Для семьи здесь был выделен отдельный домик, фактически хутор. От вокзала он отстоял версты за три. Забавы ради в семье его называли «виллой». Место было уединённое, живописное.

Зимой мы с сёстрами лихо скатывались на санях с высоченной горы. В одиночку я сломя голову мчала с горы на лыжах, взбиралась наверх и снова съезжала, не зная, что такое страх или осторожность. В тёплое ириновское лето научилась ездить верхом на лошади. Вряд ли я тогда ведала, что во мне скрывается такой сорвиголова. Лыжи ли, сани или верховая езда – я овладевала всем мгновенно. Мчаться на коне по полю, сшибаясь со свистящим ветром, было ни с чем не сравнимым удовольствием. Чувство лёгкости и могущества наполняло ликованием и манило опять его испытать в скачке.

Впервые в жизни я имела на «вилле» отдельную комнату. Днём её заливало солнце, вечерами наводнял лунный свет. Приволакивая из лесу срубленные ветви, я ставила их в ведро, и комната продолжала необозримый ириновский лес. Перечитывала «Войну и мир», читала

Шпильгагена, Кервуда, Марлитт. Стряпала свою жизнь из лунных вечеров, ароматов, грёз, из литературных ситуаций и образов. Даже ручей в лесу для меня был овее романтикой, позанимствованной из книг, а не журчал сам по себе. В доме священника, где жила моя подруга Настенька, была старинная библиотека. Мы выбирали сонники и книги о хиромантии. Переборов сопротивление упругих и сильных ветвей сирени, открывали небольшие оконца. Стегая по рукам, по раме, ветви врывались в комнату. Усевшись на подоконник, мы отыскивали пятишестилепестковые цветки «на счастье». Я зарывалась лицом в дурман щедрых и жирных гроздьев персидской сирени. И потому, я думаю, была так поражена позже картинами Врубеля. Остолбенев, стояла против его «Сирени», безоговорочно уверовав в то, что всё на свете одушевлено, всё внутри имеет свои глаза, наделено способностью укорять и разговаривать с человеком. Сочетание городской «цивилизованной» жизни и загородного «варварства» воспитало стойкое романтическое мироощущение.

Я ходила на торфяные болота и смотрела, как брандспойтами размывают коричневый торф, как режут его на брикеты и складывают в невысокие колодцы-штабеля. При виде общего негонкого, но расторопного труда я неизменно испытывала радость.

Папой было заведено, чтобы вся семья принимала участие в субботниках, которые устраивались на стройках. Если паче чаяния сирена возвещала о торфяном пожаре, бежали его тушить даже дети. Никаких поблажек для семьи! Сколько раз на строительствах к маме обращались начальники отделов снабжения: «Ефросинья Фёдоровна! Ну, пусть Владислав Иосифович „с заскоком“, зайдите сами на склад, выберите себе и детям обувь, мануфактуру. Нельзя же так...» Однако это было против семейных принципов и воззрений. Во главе угла была личная честность. Родители относились к этому свято-серьёзно. Мама предпочитала перешивать мне свои платья, Валечке и Реночке – мои.

Непривычно и странно было видеть маму ухаживающей за коровой, разбалтывающей в ведре отруби. Ещё так недавно, на том же Андогострое, небольшой кружок умных и интеллигентных ленинградцев воспевал маму в серенадах. Теперь роль «принцессы» отошла в прошлое. Её сменила другая – батрачки.

Я видела, как сильно изменился отец. Он надевал брезентовый плащ, сапоги и уезжал на стройку, где пропадал до ночи. Разговаривал простуженным голосом. Вечно кто-то срывал ему сон: то пришёл состав с грузом, то пригнали колонну машин за торфом. Он поднимался и уходил в темень. Я не помню, чтобы он когда-нибудь был в отпуске, не помню, чтобы хоть раз весело рассмеялся. Бывший комиссар, мыслящий человек, страстный спорщик, в Ириновке он ещё больше посуровел. Под глазами у него набрякли нездоровые мешки.

Вместе с папой в дом приезжали усталые, всегда чем-то озабоченные сослуживцы. Они усаживались за стол, где непременно возникала водка. Всё чаще и чаще я стала видеть отца пьяным. Как и прежде, меня не допускали к проблемам родительского бытия, но выпивки настолько не вязались с идеалами и обликом отца, что я напрямую спросила маму:

– Папа стал пить? Почему?

Стараясь объяснить происходящее, желая защитить отца, мама растолковывала, что у отца сейчас такая проклятая должность. Как начальник строительства, он то и дело вынужден «выбивать» необходимое: доски, кирпич, железо, транспорт. А чтобы уламывать представителей разных ведомств, волей-неволей приходится с ними выпивать: с кем бутылку, а с кем и две. Получалось, будто выхода нет и каждодневные выпивки – неизменный удел начальника стройки.

Мой сверхсправедливый отец погибал. Но однажды острая жалость к нему уступила чувству неожиданному и незнакомому – вспыхнувшей ненависти. Случилось это так.

Июньской белой ночью мы возвращались домой от друзей родителей. Ехали от них на тарантасе, сестрёнки спали, припав друг к другу, я дремала под цокот копыт и сквозь дрему слышала, как родители ссорятся. Зная, что отец много выпил, я старалась не вслушиваться в

его пьяную брань. Но вдруг он сильно, с размаху, нанёс маме удар, да такой, что она не удержалась и вылетела из тарантаса. Дико заорав, я на ходу спрыгнула за мамой. Отец натянул вожжи, лошадь остановилась, и мама, вскочив на ноги, выхватила из тарантаса обеих сестрёнок. Всё это заняло какие-то секунды, я только успела подняться с земли и увидеть искажённое злобой, чужое лицо отца. Он тут же яростно хлестнул лошадь, и тарантас шальным зигзагом одними левыми колёсами влетел на мост без перил; правые колёса повисли над пустотой. Как тарантас не перевернулся, как не свалился в реку – уму непостижимо. Но вряд ли отец даже понял, что в этот миг произошло. Проскочив мост, он умчался.

Убедившись, что руки-ноги целы, мы с мамой с трудом успокоили плачущих сестрёнок и пошли домой пешком. Я была не в себе. В первый раз в жизни я увидела, что отец поднял руку на маму.

Дома горел свет, и отец зверем метался по комнате. Он искал и не находил свой бумажник. В бумажнике была большая пачка казённых денег. Поняв, чем это чревато, мама строго взглянула на меня и сказала:

– Иди. Ищи вдоль дороги. Надо найти. Надо, понимаешь?

Было часа четыре утра. Превозмогая страх за маму и сестёр, я вышла из дому к просёлку и, внимательно осматривая обочины, побрела вдоль дороги. Прошла версты две и на краю канавы увидела толстый отцовский бумажник.

Щебетали птицы. Первые лучи солнца осветили стволы берёз. А возвращаться надо было к жизни некрасивой, дикой, которую я ни за что не хотела принимать в себя. Войдя в дом, я бросила бумажник на стол. Отец не поблагодарил. Его помрачённое в тот миг сознание занимал уже другой вопрос.

– Где мама? – спросил он зло.

Я знала, где мама скрывалась в те вечера, когда он приходил пьяным. Но с вызовом ответила:

– Её нет!

Мой тон привёл отца в бешенство.

– Говори, где она!

Тогда, не помня себя, я крикнула ему в лицо:

– Не ска-жу, где она! Не ска-жу! Ты понял?

Отец двинулся на меня. Он был страшен. Глаза его налились кровью, пальцы сжались в кулаки. Но в тот момент и я свилась в сплошной ком безоглядной ненависти. Не пытаясь заслониться, не отступая ни на шаг, знала одно: ударить себя сейчас не позволю. Не дам. Ни за что на свете. Смотрела ему прямо в глаза. Он процедил сквозь зубы:

– Уйди! Убью!

– Убей! – выкрикнула я, не помня себя. – Убей!!

Отец запнулся, обмяк и сел. После происшедшего отец дал маме слово никогда не пить. Слово своё он сдержал. Больше я никогда его не видела даже выпившим. Характер у него был сильный. Я же была озадачена и ошеломлена силой вспыхнувшей во мне тогда ярости. Недоумевала: где это вызрело, как? Грыз стыд и чувство вины.

Мне очень хотелось быть признанной отцом, но нашим отношениям, как видно, не суждено было сложиться. Я страдала. Знаю, спроси я его: «Папа, почему ты никогда не поинтересуешься, что у меня на душе?» – он бы ответил: «Делай хорошо своё дело. Это скажет о тебе всё. Вот и вся премудрость». Среди папиных сослуживцев были такие, которые кочевали за ним со стройки на стройку. Инженер Михаил Иванович Казаков был одним из его постоянных спутников. Он чаще других бывал у нас в доме. Когда-то поддразнивал меня – девчонку, потом перестал. И однажды в Ириновке постучал ко мне в комнату.

– А я сбежал от них, – сказал он о тех, кто шумел в столовой.

Неожиданно для меня он заговорил о том, как ему грустно сознавать разницу в годах: он уже стар, ему тридцать пять, а я так молода. И – поцеловал меня.

У меня появилась собственная тайна. Про его приход я никому не сказала.

* * *

Друг отца Иосиф Антонович Курчевский в очередной раз переманивал папу пере- ехать, теперь уже на Назиевские разработки. Назиевское строительство считалось обжитым. В посёлке на станции Жихарево были двухэтажные дома, стадион, теннисный корт и клуб. На стройке работало много молодёжи. Приехав туда, я сразу очутилась в компании выпускников ленинградских технических вузов. По субботам уже на станции меня поджидала весёлая компания, и даже папа смирился с тем, что я окружена молодыми людьми. Каждый из них стремился сочинить какую-нибудь поэму, сатирические стихи или рассказать историю, подлинную или вымышленную. Это вносило дух соревнования. Когда подошёл черёд Ч., он рассказал нам следующее.

Один советский специалист, будучи в командировке в Лондоне, проходил через площадь и увидел, как от стены собора отошла дама в чёрном и быстрым шагом направилась к нему. Бросив к его ногам записку, мгновенно исчезла. Поколебавшись, инженер поднял записку, попытался при свете фонаря её прочесть, но увидел, что она написана на незнакомом языке.

Утром, придя в советское посольство, он рассказал о случившемся и показал записку. Записку унесли и через несколько минут приказали: «Через час из порта в Советский Союз отходит пароход. Вы должны на нём отбыть отсюда». Он пытался протестовать. Его не слушали. Приказ есть приказ. А записку ему вернули.

Удручённый нелепо сложившимися обстоятельствами, советский гражданин стоял на палубе, когда начался сильный шторм. Команде приказали сбрасывать лишний груз в море. Он присоединился к матросам и усердно помогал при аврале. Когда же шторм утих и капитану доложили о самоотверженной помощи пассажира, тот велел пригласить его к себе в каюту. В разгар беседы, доверившись дружескому тону, наш специалист поведал капитану историю с запиской, не без основания полагая, что капитан знает не один язык и сможет ему перевести загадочную записку. Но, прочитав её, капитан изменился в лице, приказал запереть инженера в карцер и держать его там до тех пор, пока пароход не войдёт в советские воды. У обескураженного инженера оставался шанс показать записку жене по приезде домой. Его жена преподавала иностранные языки. После первых минут встречи он поведал о своих злоключениях, ожидая наконец разгадки. Но жена, глянув на записку, сказала, что он должен немедленно и навсегда покинуть их дом и больше в семью не возвращаться. Объяснений дать не пожелала. Отчаявшийся инженер ухватился за последнюю возможность: обратиться в бюро переводов. Уж тут-то ему обязаны перевести записку. Но когда инженер пришёл в бюро и полез в карман, записки там не оказалось.

Мы слушали упоённо, были заинтригованы до последней степени. С подобным концом никто не хотел мириться. Все требовали разгадки. Но как мы ни просили Ч. раскрыть, что же там было написано, он нам не уступил. На следующий день, встретив меня, рассказчик сказал, что если мне действительно интересно, что было в записке, то он может написать текст. Условие одно: способ перевести я должна найти сама. Записка была вручена. Я её развернула. Не по-немецки. Не по-французски. Не по-английски. Как же её перевести? Игра продолжалась. Было интересно.

В нашем классе Илья Грановский изучал эсперанто. Я без колебаний дала ему записку. Нахмурившись, Илья сказал, что это объяснение в любви. Способ объясниться, придуманный Ч., немало меня позабавил. Все эти воскресные впечатления были как бы внепрограммными,

«внеочередными», идущими в обгон возрасту, равно как и моё признание маме, когда в газете появились первые фотографии новых маршалов: «Мамочка, я влюбилась!»

– В кого? – испуганно спросила она.

– В Тухачевского!

– Ну, дочь, ты далеко пойдёшь, – оценила мой выбор мама.

Газеты и радио тем временем оповещали о новых политических заговорах. Выяснялось, что недавние руководители страны устраивали крушения на железных дорогах, аварии в шахтах, отравляли продукты и т. д. Наши «вожди» оказывались «врагами». Сфера, в которой происходили столь непонятные и жуткие катаклизмы, была так далека и чужда, что вообще казалась не имеющей отношения к текущей жизни. Разум легче принимал информацию о землетрясениях, чем неполадки во власти собственной страны.

Одну из самых пугающих эмоций вызвало самоубийство Гамарника. Сама по себе эта фигура была так же далека, как Каменев, Зиновьев и другие. Поразил факт самоуничтожения как свидетельство человеческого отчаяния. Увиденное когда-то на газетном снимке лицо, обрамлённое чёрной бородой, казалось значительным, умным, заставляло думать о себе. Сама не зная почему, я была убеждена, что этот человек ни в чём не виноват, но, будучи невиновным, чего-то страшно боится.

Подвиги челюскинцев, перелёт через Северный полюс перекрывали муть этих странностей и неудобоваримых судов над членами правительства. Но однажды слово «враг» приблизилось и к нашей семье. В Москве арестовали фронтового друга родителей. Того самого Шлемовича, который работал в Кремле и всегда привозил вкусные гостинцы. Написала об этом его жена. Отец и мама собирались послать ему посылку. Я хоть и не вмешивалась в дела родителей, на этот раз пыталась их поторопить. Выяснилось, что адрес изменился, надо было ждать.

Я видела, как отец подавлен арестом друга. Тогда люди ещё не признавались, что по ночам не могут заснуть, прислушиваются к скрежету тормозов, к шороху автомобильных шин, и если машина останавливается возле дома, то цепенеют от страха. Мысль о том, что в разладе «с партией и народом» могут оказаться и мои родители, мне, понятно, в голову не приходила и не могла прийти.

По Ленинграду в те годы расхаживали мужчины в габардиновых пальто, часто с собаками на поводке. Они представляли собой особый тип людей. У всех у них было что-то общее. Явственнее всего это общее проявлялось в вальяжной хозяйской походке, когда человек уверен в себе, от каждого собственного шага получает наслаждение, и прятать это нет надобности.

У моих телефонных разговоров с подругами и друзьями были обжитые темы: о заданных уроках, о кино, о молодых людях и т. д. Но вот среди привычных звонков раздался необычный. Бабушка позвала к телефону. Спросили:

– Это Тамара Владиславовна? – Так меня ещё никто не называл.

– Да.

– Здравствуйте. С вами говорит друг ваших родителей.

– Здравствуйте. А кто вы?

– Вы меня не знаете.

– Нет, я всех знаю.

– А меня не знаете. Как они поживают?

– Спасибо, хорошо.

– Значит, вы живёте на этой же квартире, никуда не переехали?

– А вы у нас бывали?

– Неоднократно. Кровать в большой комнате стоит справа, буфет у стены тоже справа. Трюмо у окна в левом углу. Так?

– Так. Но если вы у нас бывали, тогда я вас непременно знаю. Как вас зовут?

– Михаил Михайлович.

– А как ваша фамилия?

– Это я вам скажу, когда мы увидимся.

– Вы хотите к нам прийти? Но мама с папой сейчас живут в Жихарева.

– Знаю. Я хочу, чтобы вы сейчас подошли к углу Первой линии и набережной. Я вас буду там ждать.

– Зачем?

– Мне надо кое-что передать для папы, вы ведь поедете к ним на выходной день?

– Поеду. Но вы лучше принесите к нам домой.

– Я вас прошу прийти туда, куда сказал. Жду вас. Приходите минут через пятнадцать.

Звонивший повесил трубку. Ни про какого Михаила Михайловича я никогда не слышала. От разговора остался чрезвычайно тягостный осадок. Но уклониться от встречи я посчитала себя не вправе. Что-то хотят передать папе – значит нужно пойти. У меня в тот момент сидела подруга, и я попросила её сходить вместе со мной.

На углу набережной и Первой линии было дежурное место свиданий, и там стояло несколько человек ожидающих. На мой вопрос: «А как я вас узнаю?» – мне было сказано: «Я к вам подойду сам». Мы ждали. К нам никто не подходил, и я уже решила уйти. Но едва мы сделали несколько шагов, как меня окликнули: «Тамара Владиславовна, можно вас на минуту?» Меня остановил холёный мужчина лет сорока в дорогом драповом коричневом пальто, сильно надушенный. Запах его духов меня долго потом преследовал. Михаил Михайлович начал с выговора:

– Зачем вы пришли с подругой?

– А разве нельзя?

– Конечно. Вы должны были прийти одна.

– Что вы хотели передать папе?

– Раз так получилось, то уж лучше в следующий раз передам.

С тем я и ушла. Человек этот, несмотря на свою респектабельность, показался мне неприятным. В субботу я поехала в Жихарево и про звонок и про свидание рассказала не отцу, а маме. Мама добросовестно пыталась вспомнить Михаила Михайловича среди бывших знакомых, но безуспешно. Что же он хотел передать папе? На этот вопрос мы с мамой ответить не могли. Главного инженера стройки звали Яков Ильич. Очень сдержанный человек. Он учил меня играть в теннис. Корт был недалеко, и, когда я приезжала к родителям, он кричал под окном: «Том, нас ожидает корт».

Вечером в клубе был концерт ленинградской бригады, и мы пошли все вместе. Сели в первый ряд: мама, Яков Ильич, я, ещё несколько человек. Последним в программе был фокусник. Он манипулировал платками, кувшином с водой, ещё чем-то и, подойдя к краю сцены, обратившись ко мне, предложил подняться и подтвердить, что в кувшине действительно нет воды. Я хотела было отказаться. С присущим ему добродушием Яков Ильич уговорил:

– Да поднимитесь, загляните, что там.

По окончании фокуса объявили антракт. Навстречу поднимавшимся с места зрителям двигались трое незнакомых. Они вплотную подошли к Якову Ильичу: «Следуйте за нами!» И, взяв его в кольцо, повели к выходу. Яков Ильич не проронил ни звука. Даже не обернулся. Так и ушёл между этими людьми. Просто ушёл. Арест был произведён у всех на глазах, в людном клубе. Действительность превратилась в какую-то нереальность. Всё как-то сместилось, сплюсчилось. Я не могла поверить, что присутствовала при аресте хорошо знакомого человека.

Более чем через год, когда многое изменилось в судьбе и нашей семье, я встретила Якова Ильича на улице. Едва узнав, забежала вперёд: да, это был он. Яков Ильич оказался «счастливым». После следствия его выпустили на волю. Он был скуп на слова, почти ничего не рассказал, но, загнув обшлаг пальто и пиджака, показал «браслет», выжженный вокруг кисти руки. И пояснил: следователь тушил об него папиросы.

И снова не верилось в то, что вижу это своими глазами. А человек, представившийся другом родителей, снова позвонил через месяц. И опять не пожелал назвать свою фамилию. Я проявила настойчивость. Тогда он ответил: Серебряков.

– Как дома? – осведомился он.

– Спасибо, хорошо. Я спрашивала маму, она вас не помнит.

– Ну, об этом после. Сейчас есть дело поважнее. Вы собираетесь ехать в Жихарево на воскресенье?

– Да.

– Так вот. Вам на этот раз не следует туда ехать.

– Как? Почему?

– Ничего особенного. Беспокоиться не надо, но ехать тоже не надо.

– Объясните, почему? Что-нибудь случилось?

– Ничего не случилось. Но я прошу вас не ехать. Всё!

Я уже боялась этого человека. Боялась его имени, его недомолвок, пугающего смысла его усечённых фраз. Как всегда, в субботу я собралась ехать к родным. В поезд садилась с чувством неуверенности. По приезде во всё посвятила маму. Ей было виднее, в какую минуту сказать об этом отцу. Весь день я просидела дома. На звонки просила маму отвечать, что меня нет. Папа уже давно, разговаривая с кем-нибудь из посторонних, не без гордости представлял меня: «Это моя старшая дочь». Мне стала видаться в этом доля доверия.

К вечеру того дня папа уходил на товарную станцию встречать состав с вербованными, которых набирали в Центральной России. Я попросила его взять меня с собой. Было неодолимое желание по-взрослому, серьёзно поговорить с отцом о Серебрякове. Готовилась к разговору как «старшая дочь». Папа в сапогах, в брезентовом плаще шагал впереди. Я едва поспевала за ним. На станции выгружались приехавшие на заработки люди. Папа приветствовал их речью. Духовой оркестр хрипло, в захлёбе от полившего дождя, проиграл марш. Мы возвращались к дому, когда уже стемнело. За пеленой дождя перемигивались огни стройки.

– Папочка, – начала я, – знаешь, несколько раз звонил какой-то человек, отрекомендовавшийся твоим другом. Я не знаю, что ему надо, но он просил меня сегодня не ехать сюда.

Папа отмахнулся:

– Это тебя твои кавалеры разыгрывают.

– Что ты! Я видела этого человека. Он пожилой, он...

– Ерунда!

Отец не поверил мне, не встревожился, не захотел продолжать разговор. Диалог опять не состоялся. В воскресенье часов в десять вечера я уезжала в Ленинград. Поскольку мой приезд уже перестал быть тайной, на вокзал, как обычно, меня провожали друзья. Мама тоже пошла. Со ступеней вагона я обернулась, чтобы ещё раз со всеми попрощаться. И в тот же момент увидела, как от станционного помещения к поезду идёт Серебряков с собакой. Мама почувствовала, как я испугалась, и мгновенно обернулась именно на него. Он сел в один из первых вагонов. Поезд тронулся. Только этот взметнувшийся мамин взгляд и был каким-то утешением. Мне было страшно сидеть в полупустом вагоне пригородного поезда, зная, что рядом едет непонятный, что-то знающий про нас человек. Может, и не враг, но и не друг. Я неотрывно смотрела в вагонную дверь, ожидая, что он войдёт сюда вместе с собакой. Он появился на перроне в Ленинграде.

– Ну что ж, будем знать, что вам доверять нельзя, что вы человек несерьёзный. – И прошёл мимо.

Я ничего не ответила, да и не сообразила бы, что сказать. Фраза эта обижала, мешала, замутняла существование.

Через несколько дней арестовали директора строительства Иосифа Антоновича Курчевского. Папа был настолько потрясён арестом друга, что не мог ни с кем разговаривать. Не

откладывая в долгий ящик, папу тут же исключили из партии за то, что он давал рекомендацию «врагу народа» Курчевскому. С поста заместителя директора отец был смещён и назначен начальником транспортного отдела. Мама рассказывала, что отец трое суток не ложился спать, повторяя только одну фразу: «Какое эти трое имели право исключать меня из партии?» Исключало его не общее собрание, а тройка из бюро. Мама плакала: «Владек! Тебя тоже арестуют!» Папа яростно кричал: «За что? За что меня арестуют? Не городи глупости! Не смей произносить это вслух!»

В пятницу, 22 ноября 1937 года, мама приехала в Ленинград, чтобы взять кое-какие вещи. В субботу после школы мы вместе должны были их увезти. Мама переночевала дома. Вернувшись из школы, я её не застала.

– Где мама? – спросила я бабушку.

– Садись пообедай, – заплакала она.

– Где мама?

– Сядь поешь, – повторила бабушка.

В комнату вошёл сосед, которому родители сдавали комнату.

– Тамара, вы взрослая девочка, – сказал Давид Абрамович, – надо быть мужественной.

Сегодня ночью арестовали вашего отца.

Ещё плохо понимая, что с нами случилось, я только слышала, как, заглушая всё остальное, гремели слова: «Вашего папу аресто-ва-ли!» Телефонистка из Жихарева рассказала маме, как ночью пришли за папой, как делали обыск, как папа, по словам понятых, в несколько минут стал весь белый – поседел на глазах. Когда его уводили, сестрёнки бежали за ним до станции. Их отгоняли, но они всё бежали за ним и плакали. Телефонистка подобрала их и до утра держала у себя.

После её звонка мама кинулась на вокзал к первому попавшемуся поезду. Схватив оставленные вещи, я заторопилась следом. В трамвае люди разговаривали между собой, словно ничего не произошло. Всё вдруг отодвинулось, стало посторонним, чужим. В поезде, забравшись на вторую полку, чтобы ни с кем не общаться, я смотрела в окно. Уже выпал снег. Папа возник где-то в глубине сознания. В сердце. И там его вели двое с винтовками. Папа оступался, проваливался в снег... двое подталкивали его. Я не могла одолеть, переварить эту картину: папа молча шёл и шёл под конвоем по ходу поезда... Я, оказывается, сильно любила своего сурового, безупречно честного отца. Едва не проехав станцию, забыв в вагоне все вещи, всё-таки успела выскочить из поезда.

Дома после обыска всё было разбросано. Из угла комнаты без слёз смотрели перепуганные сестрёнки. Ни к чему не притронувшись, лежала в постели мама. Попросила протопить комнату и что-то сварить поесть. Я хотела пойти к позвонившей в Ленинград телефонистке, но мама остановила:

– Не надо. Она просила не приходить. Для того чтобы позвонить нам, она ездила на другую станцию.

И теперь, уже без всяких вопросов, я всё стала понимать сама. Папы не было. Мира, в котором мы до сих пор существовали, не стало.

Было 23 ноября 1937 года.

Мы сразу оказались в полной изоляции. Как в ночь резни гугенотов, ворота нашего дома оказались помеченными знаком уничтожения. И ничто уже отныне не могло этого отменить. Не просто было сообразить, что надо делать сперва, что потом. Мама всё время плакала. Решений никаких принимать не могла. Я поняла и это.

На следующий день я неуверенно сказала: «Надо переезжать в Ленинград». – «Да», – послушно ответила она. Стало ясно, что я имею право голоса. И теперь, очевидно, решающего. Но я не была к этому готова. Следовало через что-то перепрыгнуть, нащупать под ногами какую-то прочность.

Начали собирать вещи. Их надо было переправить на вокзал. Мама позвонила в правление Назиевстроя. Жене арестованного начальника транспортного отдела в транспорте отказали. Вдвоём мы начали перетаскивать вещи на себе. В такие минуты рождается острое внутреннее зрение, душевная зоркость. Я ещё верила, что, увидев, как мы с мамой тащим на себе наш скarb, мои поклонники, столь изобретательно объяснявшие мне в любви, ринутся на помощь. Нет. Посёлок будто вывели. Из окон домов глядели знакомые, но на улицу не выходили.

И всё-таки, когда мы волокли на себе швейную машину, один человек не выдержал, вышел навстречу. Это был тот самый Михаил Иванович Казаков, который в Ириновке в один из лунных вечеров постучал ко мне в комнату и с которым меня связал первый в жизни тайный поцелуй. Когда он, твёрдо ступая по земле, шёл к нам навстречу, что-то из стремительно исчезающего мира задержалось. Михаил Иванович дорого заплатил за этот порыв души. Через пару дней он был исключён из партии «за связь с семьёй врага народа».

Мы вернулись домой, в Ленинград. Надо было искать по тюрьмам папу. А как это делается? Куда и к кому обращаться?

Глава вторая

Со дня папиного ареста я стала именоваться «дочерью врага народа». Это была, так сказать, моя первая политическая кличка, полученная от Времени. В школе меня перестали вызывать на уроках. Под каким-то предлогом пересадили на последнюю парту. Но потрясение от происшедшего в семье было так велико, что частности принимались послушно, почти как должное. Папин арест обязывал ко многим незамедлительным решениям, в том числе к устройству на работу. Занятия были заброшены. Я выискивала объявления на доске: «Требуется...» Мозаичный цех, выплачивающий ученикам стипендию, показался наиболее приемлемым, и я с тоскливым чувством отправилась в школу забирать документы.

Выслушав меня, завуч Нина Васильевна Запольская плотно прикрыла дверь учительской, негромко, но решительно сказала: «Что бы там ни было, Тамара, надо закончить десятилетку. Осталось всего полгода. Я тебя не отпущу! Для приработка найду тебе учеников». Твёрдая позиция завуча школы по отношению к судьбе одной из учениц была, казалось бы, естественной, но не в трясине опешенности и растерянности конца 1937 года, когда в одночасье нормальное превращалось в свою противоположность. Вмешательство завуча Нины Васильевны, как и помощь Михаила Ивановича Казакова при нашем переезде в Ленинград, казались мигающими огоньками чего-то ещё существующего, но уже подпольно. А я со всей страстью цеплялась за устойчивость прежних представлений о жизни.

Нина Васильевна нашла мне учеников. Главное как будто уладилось. Фокус, однако, заключался в том, что главным стало разом всё: поиски тюрьмы, где находился отец, мамино здоровье, присмотр за сёстрами, попытки совместить учёбу с работой. Жизнь начиналась серьёз. Буквально через пару недель после папиного ареста меня вызвали на бюро комсомольского комитета. Длинный стол был покрыт кумачом. На стене – портреты Сталина и Ежова. Солнце косой трубой высвечивало неприкаянность пылинок.

Новый комсорг и члены бюро приступили к разговору. Было сказано, что я всегда была примерной комсомолкой, поэтому мне и хотят помочь. В данный, решающий момент всё зависит от меня самой. Для того чтобы всем было ясно, что при создавшемся положении вещей я продолжаю мыслить как настоящий член ВЛКСМ и гражданин своей страны, я должна публично отречься от своего отца – «врага народа». Долг каждого честного человека – поступить именно так. Другого выхода нет. Как я отношусь к сказанному, что думаю, спросили меня в заключение. К тому, чтобы отречься от отца? Раздумывать тут было нечего.

– Мой отец ни в чём не виноват! Он не враг народа! – отрезала я.

– Откуда ты это можешь знать? Кто тебе дал право ручаться за отца? – жёстко наступали на меня.

– Право? Никто не давал. Я знаю своего отца. Он невиновен!

– Что ж, докажи.

Что значит «докажи»? Была вера, не допускающая мысли о виновности отца. Я могла рассказать о его перегруженности, бескорыстной самоотдаче, о том, как важно ему было, чтобы дети росли правдивыми и честными. А «доказать»?.. Впрочем, разговор об «отречении» представлялся мне средством, используемым для устрашения, для проверки моей готовности защитить отца. Не может же быть в самом деле серьёзным предложение отречься! Через несколько дней я прочла объявление: состоится комсомольское собрание. Один из вопросов повестки дня – обо мне.

На собрании я слушала, но опять не верила, что всё это относится ко мне. Председатель очерстневшим голосом докладывал о какой-то Петкевич как о «дочери врага народа», для которой органы НКВД не являются, видите ли, авторитетом. Она не верит, что её отец арестован за дело, и не желает отказаться от него, что и ставит её в данной ситуации вне комсомола.

– Кто за исключение Петкевич из рядов ВЛКСМ?

Поднялся лес рук. «За» не проголосовали лишь двое: отличник из нашего класса Илья Грановский и мальчик из параллельного класса. Решение формулировалось так – исключить из комсомола: 1) за потерю политической бдительности (за то, что прозевала в собственной семье «врага народа» – отца); 2) за клевету на органы НКВД (поскольку неверие в виновность отца означает неверие в справедливые действия наркомата внутренних дел). Третий пункт почему-то не запомнила вообще.

Казалось, кто-то непременно и немедленно должен всё это аннулировать. Уж во всяком случае в последней инстанции – райкоме комсомола – возмутятся недопустимо глупым решением комсомольского собрания. С этим я туда и шла, когда вызвали.

– Положи на стол комсомольский билет. Решение правильное. Ты больше не комсомолка! – хладнокровно подытожили там.

«Положи комсомольский билет. Ты больше не комсомолка!» Вынув из сумочки комсомольский билет, я подошла к столу секретаря райкома и положила его. Меня ещё долго преследовала картина «леса рук» и райкомовского вышвыривания. На нервной почве (как сказали врачи) у меня отнялись ноги. В доме запахло лекарствами, отварами трав. В дверь никто не звонил. Мы оказались отрезанными от мира, от половодья бывшей привычной жизни. Но вошедшая в дом нужда, как беспощадный лекарь, в упор требовала разобраться с собой.

* * *

Сразу же по приезде в Ленинград мы стали разыскивать папу. Кто-то посоветовал нам поехать на пересыльный пункт. На меня глянули беспомощные мамины глаза, и я поняла, что ехать придётся мне. На пересыльном пункте папа в списках – не значился. В «Крестах» папиной фамилии – не нашли. Встреченные там женщины объяснили, что первым делом следует обратиться в справочное бюро Большого дома на Литейном. Дом действительно был большой, особенно по тем временам. Построен он был уверенно, фундаментально, «перспективно». Серое современное здание олицетворяло незыблемость и прочность власти.

Пересыльный пункт, «Кресты», Большой дом по-новому открывали не только город, в котором я знала памятники и дворцы, трамвайные и автобусные маршруты, но и совсем другую жизнь. Названия тюрем, решётки на окнах, растерянные лица людей, с которыми пришлось стоять в очередях, стали зримой границей, за которой попросту виделся конец света. Но там находился отец. Ему надо было помочь во что бы то ни стало.

До того как войти в справочное бюро Большого дома, я считала, что мы относимся к тем особым, но всё-таки немногим, на кого накатила беда. Похожий на вокзал, огромный, с колоннами зал справочного бюро оглушил. Он был до отказа забит людьми. Нельзя было понять, толпа это или нескончаемо длинная очередь. Если очередь, то где искать конец? Стоял гул, а многие люди, возле которых я оказывалась, молчали, исступлённо глядя в одну точку. Степень общей наэлектризованности была так велика, что и меня заразила мгновенно. Прежде чем понять неизмеримость несчастья, я его увидела глазами, почувствовала кожей. Свежая, всепотрясающая мощь боли, исторгавшаяся невиданной массой людей, непостижимым образом не рушила стен этого здания.

Ошеломлённая, не зная куда ткнуться, я всё же отыскивала конец очереди. Совершенно незнакомые люди вполголоса доверительно делились друг с другом тем, как всё случилось: позвонили, вошли, сказали... Начали всё переворачивать, ворошить бельё, книги, письма... закончили обыск... увели... Рядом женщина подробно рассказывала, как муж, столько ночей прислушивавшийся к каждому ночному звуку, стал вдруг необыкновенно спокоен, только её всё просил не терять мужества, странно улыбался и подбадривал.

– А мой муж, – говорила другая, – повторял только одно: «Верь мне! Слышишь? Ты должна верить в то, что я ни в чём не виноват! Ты и детям должна внушить, что их отец невинен. Это очень важно. Больше я тебя ни о чём не прошу!»

– А мой муж кричал: «Не имеете права! Это недоразумение! Не смеее невинного человека заирать!» – добавляла следующая.

И вдруг кто-то из стоявших рядом тихим отстранённым голосом спросил:

– Как думаете, их там пытаются? Говорят, страшно бьют, одному рёбра сломали.

Именно с этой секунды я знаю: не каждый вопрос, не всякое слово сознание успевает перехватить у других чувств. Всё внутри похолодело от страшного вопроса. Какие-то люди могут папе ломать рёбра? Один живой человек другому? За что? Как это? Я не умела о таком думать. Но понятие «арест» изнутри стало обрастать ещё большим ужасом.

Последними в очереди были немолодая дама со взрослым сыном.

– Кто у вас? – спросил юноша.

– Отец. А у вас?

– Тоже отец.

Последовали вопросы: когда арестовали? Сколько человек в семье?

– Как ваше имя? – спросили новые знакомые.

Я назвалась, они тоже:

– Я – Эрик. А мама – Барбара Ионовна.

Над одной из дверей этого адского зала звенел звонок с интервалом примерно в минуту-две, что означало: следующий, заходи. В справочном пропускнике не задерживали. Вопрос, ответ, окошечко захлопывалось. Оттуда выходили уже не в зал, а прямо на улицу. В тот первый день очередь до нас не дошла. Договорились, что на следующее утро мать и сын скажут, что я стою перед ними.

– Фамилия? – спросил назавтра лысый человек в окошечке справочного.

– Петкевич, Владислав Иосифович.

– В тюрьме на Шпалерной.

И деревянная задвижка поставила точку.

Памятуя о случае 1926 года, когда в папе «опознали» царского офицера и посадили в тюрьму на Шпалерную, мама так и говорила: «Я знаю, знаю, он на Шпалерной».

В очереди Большого дома я узнала, что ежемесячно в тюрьму можно передать тридцать рублей, что день передачи определяет начальная буква фамилии арестованного. Оказалось, фамилия отца Эрика тоже начиналась на «П». На Шпалерной нам дообъяснили:

– Буква «П»? Второе число каждого месяца.

Комиссионные магазины Ленинграда в 1937–1938 годах походили на свалки дорогих старинных вещей: ковров, картин, изысканных люстр, серебра, хрусталя, мехов и одежды. На Невском проспекте, у Главного штаба, в сером, ложноготического стиля здании под «комиссионку» был отведён отсек первого этажа. Отстояв немалую очередь, мы с мамой сдали сохранившиеся у нас тарелки с вензелями и хрустальные бокалы. Часть вещей отнесли в скупку, где деньги выдавали сразу на руки. Так мы насобирали папе на передачу и себе на жизнь.

Второго декабря, в день передачи, поднялись в пять утра. Зажгли электрический свет. Проснувшиеся сестрёнки испуганными глазами наблюдали, как мама плачет, навьючивая на меня тёплый платок и заставляя надеть валенки. В то тёмное жгуче-морозное утро я села в первый вышедший из парка трамвай насильственно повзрослевшей.

На Шпалерной увидела шмыгавших в парадную, наискосок от тюрьмы, таких же, как я, людей. На лестничной площадке третьего этажа шла запись. Подходившие, стремясь протиснуться к записывающему, волей-неволей создавали шум и толчею. Заспанные жильцы дома открывали двери своих квартир и, возмущённо ругаясь, гнали непрошенных гостей на улицу. Услышав угрозы позвать дворника и милицию, люди шли искать другую парадную, откуда их

таким же образом выставляли. От ворот тюрьмы прогоняли также, поскольку туда то и дело подкатывал «чёрный ворон». Шпалерная пасть открывалась и заглатывала тех, кого привозили в «воронке».

Мы дрогли на морозе. Наконец в восемь часов открыли двери тюрьмы. Очередь смолкла, вытянулась в цепочку. Я не сумела понять, отчего, войдя в помещение тюрьмы, вдруг лишилась сознания. То ли от самого явления тюрьмы, то ли от ещё не осознанного более глубокого предчувствия.

Когда моя очередь подошла, я передала в окошечко тридцать рублей на папино имя, плохо представляя внутри тюремных коридоров ларёк, где папа мог бы что-то себе купить.

С моими знакомыми по справочному бюро мы договорились теперь встретиться в прокуратуре, чтобы добиться приёма у Позерна. Но буквально через несколько дней в газете появилась статья, клеймившая главного прокурора как «врага народа». Советовали идти к Заковскому, затем к Гоглидзе, но они тоже оказывались «врагами». Перемалывание имён продолжалось. В приёме как таковом всем отказывали, предлагая изложить просьбы в письменном виде. И вряд ли кто-нибудь знал, куда девались заявления с мольбой «ввиду невиновности... прошу освободить моего отца... мать... мужа...».

Однажды, когда в приёмной прокуратуры все сосредоточенно писали, неожиданно поднялся мужчина и стал громко и жарко говорить о том, что на наших глазах совершаются преступления в отношении старых большевиков и вообще настоящих людей, что, если мы будем сидеть и ждать у моря погоды, истребят нас всех... Один человек говорил, остальные жадно, с испугом ему внимали. Никто его не прерывал, никто не арестовывал. Фактически это была страстная политическая речь. И удивительное дело, она казалась необыкновенно смелой, волнующей и... преувеличенной. Ведь существующей властью считался отстрадавший своё историческое время класс рабочих и крестьян. Не могла же эта рабоче-крестьянская власть наносить вред своему народу?

* * *

В разного рода приёмных, которые мы посещали вместе с моими новыми знакомыми, Эрик рассказал, что учится в медицинском институте, на третьем курсе. Мечтает стать хирургом. При одной из встреч в прокуратуре вдруг спросил:

– Что же с нами будет?

– Что вы имеете в виду? – насторожилась я.

– Как что? Ведь семьи арестованных высылают.

– Почему высылают? Куда?

– Потому что мы родственники «врагов народа». Куда? Во всяком случае не близко.

Я слышала об этом впервые. Значит?... Нет! Я и это сочла преувеличением. Не может быть такого! Это страшно! Маме я решила вовсе не говорить о ссылке.

* * *

Хотя я и продолжала ходить в школу, жизнь фактически переместилась в «казённые дома». Валечка и Реночка учились. Мама болела, постоянно плакала, и я её никуда не пускала.

В один из вечеров к нам пришёл папин фронтовой друг Красовский. Он долго не видел отца и выбрался его проведать. Дома было мрачно, голодно и тускло. Услышав от мамы, что отца арестовали, Красовский буквально взвыл, рухнул на колени перед папиным портретом, висевшим на стене, и громко, жутко запричитал:

– Комиссар! Батяка ты наш! Что ж они натворили? Тебя – и арестовать? Да если тебя... так на чём тогда свет держится? Что они там с тобой делают?

Я до этого и представить себе не могла, что мужчина может так плакать. Та папина прежняя, неизвестная мне жизнь, которой я не интересовалась, обозначилась вдруг как главная, как точка отсчёта его Судьбы. Слова Красовского: «Что они там с тобой делают?» – мигом связались с тем, что я слышала в Большом доме о пытках. Я вдруг *поверила* в существование потёмок мира, подземелий, где человеку причиняют невообразимую боль, которую он не в силах вынести.

Красовский сходил за вином. Они допоздна сидели с мамой, говорили о папе, вспоминая военную молодость. И мне казалось, уже никогда не будет ничего, кроме мрака, страха и натуги.

После Нового года, 2 января, я снова передала на Шпалерной для папы тридцать рублей. А когда мы с семьёй П. встретились там ещё через месяц, удивились поредевшей очереди.

– Моего отправили в этап, – повторяли многие, один за другим отходя от тюремного окошечка на Шпалерной.

Словарь пополнялся. Незнакомые словосочетания – «судила тройка», «отправили в этап» – были исполнены непонятного и пугающего смысла. В открытое окошечко и мне ответили: «Петкевич? Отправлен этапом». То же сказали Эрику. Этап? Дальняя дорога? Куда? И на сколько? Возникли измученные папины глаза. Его выводили через эти ворота? Ночью? Гнали в машину, потом в вагон? И в какую нереальную даль увезли теперь из Ленинграда?

Провожая меня до трамвая, Эрик сказал, что написал мне письмо, но просит прочесть его дома. «Нехорошо, что в такое время, в пору такой трагедии я говорю Вам это, – было написано там. – Но мы не знаем, что с нами будет завтра. Может, и вас, и нас сошлют. Вас в одну сторону, а нас – в другую. Я не могу без Вас жить. Я Вас люблю».

Издали пришлось бежать моему сознанию к смыслу написанного. Я ничего подобного не чувствовала. И в помине не было похожего, ответного. Письмо как-то всё осложняло. Я не поверила тому, что прочла. Ответать не стала. Эрик позвонил по телефону. Сказал, что понимает, как меня смутило признание, и просил считать, что письма не было: «Мы должны остаться друзьями».

Снова надо было идти в справочное Большого дома. Только там могли сказать, на сколько отца осудила «тройка» и куда его отправили. Уже обвыкшаяся, притёршаяся к обстановке справочного зала, я стала замечать здесь каждого в отдельности. Никогда больше не встречала вместе такой бездны прекрасных женщин. Вольготно было бы здесь художнику в выборе красивых осанок и лиц, но веками накопленная прелесть, достоинство были помечены страданием и мукой. Такие женщины не бились в истерику. Они даже туда приходили строго и элегантно одетыми и причёсанными. Их потрясённые умы владели искусством оценивать ход вещей пронзительно ясно и точно. Одна пленительно красивая, поразившая моё воображение женщина обратилась ко мне:

– Кто у вас, дитя моё?

– Папа.

– Отец? А у меня муж.

Она так песенно произнесла слово «му-уж», что, казалось, разом открыла, как прекрасна бывает любовь и её тайна. Расспрашивала меня о семье. Рассказывала о себе. И я не заметила, как и почему так легко стала с ней откровенна. Я говорила ей то, чем ни с кем до сих пор не делилась, сказала даже, что не прощу тех, кто отвернулся от нас с мамой в день отъезда из Жихарева, как и тех, кто голосовал за моё исключение из комсомола. Она слушала меня и, не выразив ни согласия, ни одобрения, мягко и печально резюмировала:

– Запомните, дитя моё, вот что: никогда не надо торопиться делать выводы.

Может, не словами был оттиснут смысл этого совета, а интонацией мудрости, но он остался со мной навсегда. И не однажды пригодился мне в жизни. Красота её задумчивого лица, продолговатые серо-голубые глаза, волосы, собранные в пучок, изысканность речи и эти

слова живут во мне как память об исчезнувшей человеческой культуре. Там в беседах завещали и дарили столь нестандартные советы, что многие из них осмысливались значительно позже и служили вечно...

– Меня, конечно, сошлют, но вы такая юная. Дай Бог, чтоб вас оставили! – сказала эта дама на прощанье.

– Моя знакомая, – донеслось откуда-то сбоку, – красивая очень женщина, глаз не отвести, и смелая необыкновенно, дошла, представьте себе, до прокурора. Диван у него стоит в кабинете для просительниц... Ну и заверил, что мужа освободит. Обещанного, конечно, не выполнил. А теперь сам загремел.

Иные застигнутые врасплох чувствами люди, избывая здесь горе, всё ещё сохраняли осколки наивной веры в «гарантии». Многие пытались отыскать логику, назвать свой случай ошибкой. Но кто-нибудь горьким скептическим замечанием обязательно обрывал эти попытки:

– Господи, да неужели вы не понимаете, что всё это обдуманно, что делается это специально, чтобы уничтожить интеллигентных людей?

Мне, семнадцатилетней, невозможно было поверить ни в правдивость рассказов о прокуратуре, о прорвавшейся к нему на приём женщине и диване, ни в прозорливость догадок об умышленности репрессий.

Очередь моя подошла. Как всегда перед справочным окошком, перехватило горло, и я не сразу смогла выговорить папину фамилию.

– Десять лет. Магадан. Без права переписки, – ответили мне.

Так порешила «тройка».

Всю дорогу меня не покидала мысль, что маму известие о десяти годах и Магадане сразит. Я решила не выкладывать всё сразу, но, увидев мамины глаза, смотревшие прямо в душу, ответила как есть. С того момента между нами установился взрослый язык правды во всём.

* * *

Позже кто-то надоумил сходить ещё раз в справочное Большого дома. Когда этап прибывает на место, говорили, там дают более точный адрес. Тот последний визит в Большой дом был отмечен одним острым, пронзительным впечатлением. Это случилось вдруг: ровный, приглушённый шум голосов сник. Откуда-то изнутри зала накатила тишина. Всё смолкло внезапно и тревожно. Как и многие, я не сразу поняла, где и что произошло. Появившись из боковых дверей, пробиваясь, прорезая толпу, гуськом шли с котомками в руках мужчины с обритыми головами. Их было человек двенадцать-пятнадцать. Кто они? Куда шли? Но инстинкт плотной толпы мгновенно организовал им коридор. Первый из идущих внезапно остановился и захлебывающимся голосом выкрикнул женскому скопищу:

– Матери! Жёны! Дочери! Слушайте нас! Хлопочите! Вы здесь не напрасно! Пишите всюду! Видите, мы первые из тех, кого выпустили благодаря вашим хлопотам! Женщины, родные, добивайтесь правды! Боритесь!

Боже, что тут началось! Освобождают!!! Всё взорвалось. Справочное бюро НКВД превратилось в шумное, воспалённое поле. Всхлипы рыданий, возгласы и лавина вопросов:

– Откуда вы? С этапа? Из тюрьмы? Сколько отсидели? Кормят как? Скольких выпустили?

И облегчение: ну конечно же, этого и надо было ждать! А вы говорили! Дурной сон прошёл! Недоразумению конец! Выпускают! Администрация Большого дома уже наводила порядок, мужчин подгоняли, а женщины ещё наперебой цеплялись за них вопросами. Царило ликование. Возрождённая вера взвинтила нервы, опьянила. Верить хотелось зримому, услышанному, а не тому, что было уже Судьбой и не поддавалось пониманию. Не все предались

ажитоажу. Нет. Многие тут же поостыли. И даже я, несмотря на начавшийся пляс воображения, ощутила в себе раздвоенность. Домой я тем не менее мчалась с вестью: «Видела, выпускают!»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.